

МЫ

5/91

ISSN 0236-3283



**ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ.
НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ**

Главный редактор
Геннадий БУДНИКОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АБРАМОВ
Тамара АЛЕКСАНДРОВА
Игорь ВАСИЛЬЕВ
(ответственный секретарь)
Андрей КОСЕНКИН
Альберт ЛИХАНОВ
Дмитрий МАМЛЕЕВ
Георгий ПРЯХИН
Григорий ТЕРЗИБАШЬЯНЦ
(заместитель главного редактора)

Художественный редактор
Елена СОКОВА

На первой странице обложки
фото Владимира ЛАГРАНЖА

Адрес редакции:
107005, Москва, Б-5, аб. ящик №1.
По всем вопросам экспедирования
и полиграфического исполнения
обращаться в издательство "Дом"

© "МЫ", 1991
Издательство "Дом"
Советского детского фонда
имени В. И. Ленина
Адрес: 101963, Москва,
Армянский переулок, 11/2А.
Телефон: 923-66-61

Отпечатано в типографии
А/О Принт-Юхтиёт
Соинпринт Финляндия
при посредничестве
В/О "Внешторгиздат"

Сдано в набор 11.02.91 г.
Подписано в печать 18.03.91 г.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,1.
Уч. – изд.л. 12,72. Тираж 1000000

5/91

ОСНОВАН В 1990 ГОДУ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
СОВЕТСКОГО
ДЕТСКОГО ФОНДА
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

СОДЕРЖАНИЕ

Айдер Куркчи. Уроки трудных дней	2
Алексей Косульников. Антракт, негодяи!	150

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

Анатолий Макаров. Выставка стекла. Повесть	13
Зарубежный детектив. Милдред Гордон и Гордон Гордон. Таинственный кот идет на дело. Роман. Перевод с английского. Продолжение	66
Игорь Дружинин. В сердце храню. Стихи	125
Анатолий Штейгер. Платить сполна. Из творческого наследия. Стихи	62

ПРОБА ПЕРА

Эяна Шимкявичуте. Палец. Рассказ	140
---	-----

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

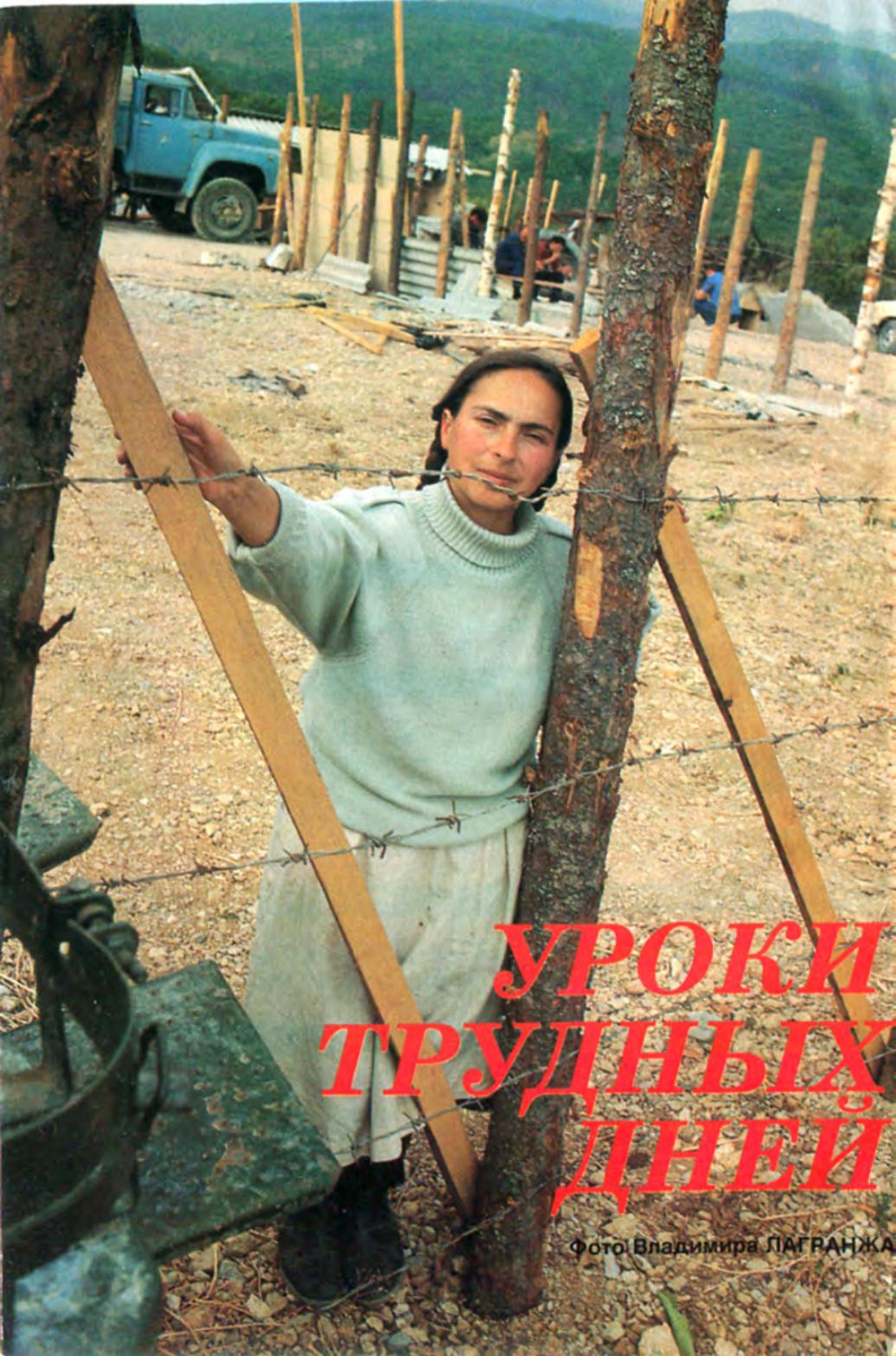
Нас считают "кончеными"... Письмо в редакцию	126
Александр Фоменко. Страсти по Апулею	128
Иван Бунин. Неизвестные рассказы	132
Письма в "Мы"	9
Ищу друга	188

НАШЕ ПРОШЛОЕ

Роберт К. Мэйсси. Николай и Александра. Главы из книги. Перевод с английского. Продолжение	160
--	-----

КУМИРЫ И ЗВЕЗДЫ

Андрей Кокарев. Майкл Джексон: лишенный детства	134
Музыкальные страницы	180
На малом экране. Видеообзор	191



УРОКИ ТРУДНЫХ ДНЕЙ

Фото Владимира ПАГРАНЖА

Этой зимой многие семьи крымских татар зимовали под полиэтиленом — колья, вбитые в землю, покрытые пленкой или куском старого брезента.

Нынешние тяготы — метастазы давних сталинских преступлений — депортации, насильственного выселения народов с родных земель.

Если так выглядит возвращение домой, что же пережили люди в те страшные дни?

Наш собеседник — АЙДЕР КУРКЧИ, историк, член комиссии Верховного Совета СССР по проблемам крымско-татарского народа.

— Вас лично это коснулось?

— Да. Хотя мы находились в тот момент не в Крыму — в эвакуации на Кавказе (жили большой семьей: мама, тетки, двоюродные братья, сестры — отцы у всех, как и у меня, воевали), про нас не забыли. Внезапно подняли ночью, погрузили в машину, повезли.

Я был совсем маленьким, но многое помню. Помню лагерь в Восточном Казахстане — саманный барак в голой степи, насквозь продуваемый ветром. Рядом жили поляки из Львова, ленинградцы. Всех нас бросили на самообеспечение. Люди голодали, болели. Как вечер — начинается тебя трясит жуткий озноб — малярия. А лекарств — никаких, никакой помощи. Приезжал иногда уполномоченный из НКВД, проверял списки, записывал умерших...

По соседству был колхоз, и председатель, жалая детей — а выразить сочувствие было небезопасно, — брал иногда нас, маленьких, на рисовые чеки и за



работу сбрасывал мешок кукурузной или просяной муки.

Оказавшиеся в лагерях понятия не имели, за что их выслали. Им не объяснили. За пособничество врагу — и все! А в чем оно выражалось? Никто никогда не предъявлял никаких обвинений, да и можно ли обвинить целый народ? Моя тетка, когда нас везли, на одной из станций отстала от поезда, чтобы дать Сталину телеграмму: "Товарищ Сталин... горячо любимый! Спаси!.. В чем наша вина?.."

Все ждали: вот кончится война — и разберутся, восстановят справедливость. А в сорок восьмом зачитали указ: крымские татары, калмыки, ингуши, чеченцы, немцы выселены навечно. Вот от этого "навечно" люди зарыдали.

Даже внуки тех, кто прошел через лагеря, до сих пор живут с сознанием: все должны знать, что мы не виноваты. Они говорят об этом на улицах, на базарах. Сегодня крымские татары требуют поднять все документы, восста-



новить справедливость и помочь им вернуться в Крым.

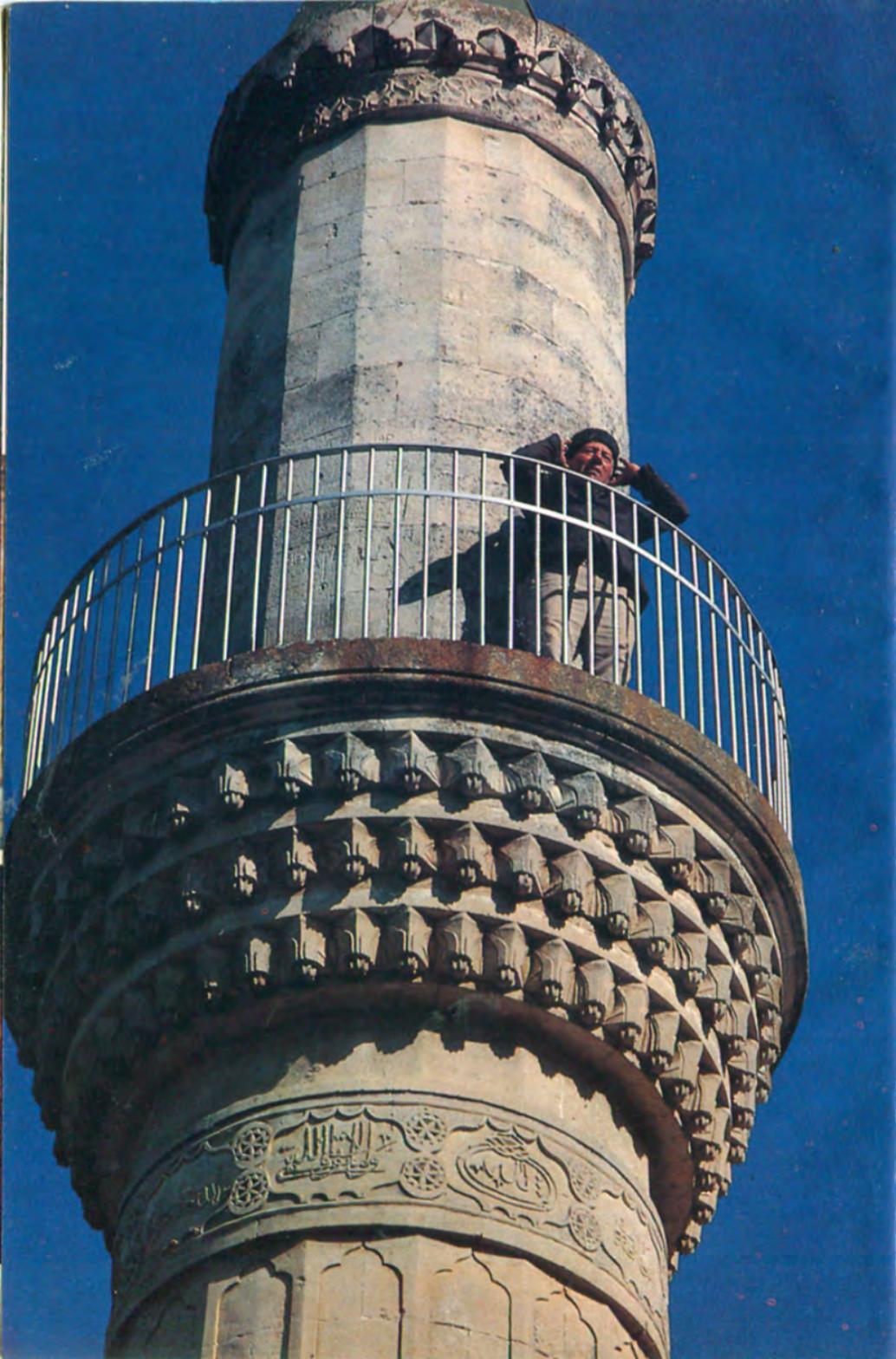
— Людей можно понять, но они, наверное, представляют, что при нашей нынешней нищете, бесконечных бедах им не удастся, вернувшись, сразу получить жилье или стройматериалы, даже если местные власти захотят пойти им навстречу. Почему же они бросают хорошие дома — неплохо ведь жили татары в Узбекистане — и обрекают себя и, что страш-

нее, детей на мытарства?

— Чувство родины — загадка для человечества в двадцатом столетии. В эпоху расцвета научно-технической революции кажется, что родина у человека — весь мир. Он может жить в любом городе, если есть интересная работа. И вот вдруг... Острая потребность во что бы то ни стало вернуться на землю предков. Это наблюдается не только у нас в стране.

В лагерях не умирало воспоми-





вание о своей земле. Да, крымские татары неплохо жили в Узбекистане. Многому научились у узбеков и многому их научили. Но народ сохранил свою самобытность. Мало-помалу у молодых утвердилось желание жить обособленно, строить свои поселки — в предгорьях. В Узбекистане для дома обычно выбирают ровное место, а они стали ставить свои дома на разных уровнях, как в крымско-татарских селениях. Старики удивлялись: откуда у них представление о том, как жили деды, и желание, иногда даже неосознанное, так жить? И вот теперь эти молодые, успевшие уже состариться, мечтают вернуться на родину, взглянуть на дом предков или хотя бы на то место, где он стоял.

А ситуация с возвращением складывается трагично. Из ста двадцати тысяч вернувшихся только двадцать тысяч устроились кое-как, добыв правдами или неправдами участки земли. Комиссия Верховного Совета СССР столкнулась с целым клубком проблем — административных, социальных, психологических... С предубеждением против татар на бытовом уровне — "они" вернуться, "нам" будет хуже — и не только на бытовом. Директор совхоза может позволить себе не брать на работу крымских татар, газета может написать о том, что крымские татары резали во время войны коммунистов. Во время войны было всякое, но мы не считаем, сколько было предателей одной национальности, сколько — другой. Появляются историки, делающие "открытия": татарам не принадлежала эта земля, они — пришельцы, завоеватели. Но народ



создал здесь собственное представление о мире, свою цивилизацию, свои дома, свои сады, свою культуру, мечети, медресе, Бахчисарайский дворец... Давайте сейчас забудем кто откуда пришел и кто когда на кого совершал набег: все народы когда-нибудь друг друга обижали.

— Если это повально станет основой для выяснения отношений между соседями, прожившими много лет во взаимной симпатии и не подозревавшими, что исторически они — "враги", или между ребятами в классе, в школе, можно представить себе, до чего мы дойдем. Многие уже сполна ощутили трагизм и ужас национальных распрей, беды, которые они несут. В стране сотни и сотни тысяч беженцев. И нет уверенности, что завтра их не станет больше. Вместе со взрослыми терпят лишения дети — совсем маленькие и подростки. Что с ними будет? Я — о здоровье и о душе.

— Единственное спасение — признание за детьми права на первоочередную заботу. Нужна наивозможнейшая материальная помощь прежде всего. Чтобы в районе, где скапливаются беженцы, за счет любых средств, любых ассигнований, пожертвований организовали школу. Медпункт и школа обязательны! Учить хоть под открытым небом, на лавках, на стульях — как угодно. Как в России в эпоху расцвета земства. А у нас все упирается в планы. Вот нет в плане строительства школы в данном районе — и basta! Дети, лишенные возможности учиться, такое же преступление, как в свое время депортация.

На свете немало отзывчивых людей. Хорошо, что собирают, направляют беженцам посылки — продукты, одежду. Но сегодня нужны благотворительные организации самого разного направления, отряды психологической помощи — помогать людям привыкать к новым обстоятельствам. Это не исключает кардинального решения проблем — возвращения на родину. Но, к сожалению, такого не произойдет тотчас. А взрослым надо работать, детям — учиться.

От беды спасает только дело, любое. Ни в какой ситуации нельзя поощрять безделье. Народ должен организоваться для самовывживания, а безделье это — вымирание.

Знаю семьи, погрузившиеся в национальное самокопание: мы — хороший народ, к нам все несправедливо... А подростки бегут от этих стенаний куда угодно — в любую компанию. Неизвестно, против кого и против чего обернется завтра посеянная в детских душах агрессивность.

Опасно политизировать несовершеннолетних. Нельзя заставлять молодых принимать решения, к которым они не готовы. Политический выбор должен быть лишь итогом знания.

* * *

Забота о детях — забота о будущем. Но дети всегда вырастают похожими на взрослых, с которыми их сводит жизнь. Какие же уроки получают они сейчас, в эти трудные дни?

Беседу вела
Тамара АЛЕКСАНДРОВА

ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ...

Я никогда не понимала насилия и жестокости. Но в нашей школе мне пришлось с этим столкнуться — и как вы думаете, из-за чего?..

Мои родители приехали в этот город, как и все, из-за денег. Здесь я подружилась с парнем, который болел за футбольную команду — московский "Спартак". А остальные ребята из его класса болели за другую команду. Они всегда старались унижить моего парня, хотя он и спровивлялся.

А однажды вечером, когда мы проходили мимо одного подвала, где выпивали его одноклассники, они жестоко избили моего парня. А я не смогла остановить их. Да и взрослые люди, которые видели это избиение, махнули рукой.

И неважно, какой клуб в этом году стал чемпионом... Но разве можно к таким болельщикам относиться, как к нормальным людям?

**Оля К.
г. Комсомольский**

ЧТО У КОГО ГДЕ...

Два года назад, когда мне было шестнадцать лет, я ез-

дил на лето в г. Черкассы. Там я познакомился с тремя девушками — старше меня на год и больше. Мы купались, загорали, пели под гитару... Может быть, счастливей дней у меня не будет. И вот когда мы прощались, одна из них МЕНЯ ПОЦЕЛОВАЛА. Это было так неожиданно, что я покраснел. Мне было неловко и очень приятно.

А вот дома пошло-поехало. Дни рождения, праздники. Там мы и курили, и пили, и целовались. Иногда после этого у меня появлялось чувство отвращения к девушкам. Но потом это проходило.

Я считаю, что парни и девушки в этом возрасте должны знать, что у кого где находится. И как это делается. Но все же главное — это любовь: если ты человеку не подходишь, то и Бог с тобой. Насиловать никто не будет.

**Сергей Б.
Магаданская обл.**

НАШ КЛАСС — "БЛАТНОЙ"

Наш класс очень выделяется из остальных. Самый "блатной"! У нас человек шесть девчонок (в том числе и мы) и несколько пацанов —

"ничего себе", а остальные все — "забитые".

Наша классная, когда мы были в седьмом, чуть об стенку не билась головой, чтобы мы хоть раз пионерский галстук надели. Но зато однажды, когда мы решили всем классом прийти в галстуках (ради шутки, конечно), учителя чуть с ума не сошли.

Все эти глупости уже надоели, теперь мы стали старше и понимаем учителей. Но все же приходится держать себя высоко, иначе в глазах ребят ты уронишь свое "достоинство", как-то унизишься.

Если в школе захочешь высказать какую-то умную, "правильную" мысль, то в глазах большинства одноклассников будешь дураком. А все из-за того, что тыходишь в группу "сильных".

Надоело быть "блатными"!

И., Н.
Без адреса

ОДНОМУ — ЛЕГЧЕ

Мама говорит, что я — эгоистка. Да, мне не нужны подруги и друзья, мне нужно просто знакомые, с которыми не нужно делиться тайнами, советовать, а просто пообщаться — и все. Все, дальше

ты опять один. Так легко, я это знаю по себе. Раньше я часто переживала из-за случайной откровенности с подружкой, которой я рассказала что-нибудь свое, личное или, например, высказала ей свое мнение о ком-нибудь. И мои опасения оправдывались. Через неделю мои тайны попадали на язык всем моим "подругам". А теперь я стараюсь держать язык за зубами. Меньше тревог, потому что все, что ты держишь в голове, у тебя в голове и остается, а не у кого-нибудь на языке. Да и вообще одному легче.

Из моих знакомых почти никто не разделяет мою точку зрения. Ну что ж, слава Богу и за то, что хоть мыслить по-разному стали.

С.Х.

ТЫКАЮТ КУДА ПОПАЛО

Недавно я видела по телевизору передачу, где рассказывалось о том, какие сейчас настроения на Украине. Да и раньше я читала об этом в газетах. Меня потрясли лозунги, портреты Бендеры. Мне кажется — это надругательство над исторической памятью, над нормальными людьми.

Разве плохо жилось вместе

России и Украине? А вот сейчас, когда в государстве время тяжелое, побежали все, как тараканы от заразы? Так понимать? Мне хочется, чтобы о моих мыслях узнали украинские школьники.

Если говорить честно, то больше всего мне жалко армию, милицию и русских. Тыкают их куда попало... Мне жаль наших учителей, врачей... Жаль мне М. С. Горбачева, правительство, пытающееся спасти страну. А вот всей душой ненавижу Б. Ельцина, те группировки, которые из-за своих интересов за него глотки дерут.

Письмо писала красной пастой, потому что синей это писать нельзя. Это не так просто и обыденно, не первую любовь пишу. Адрес мой сохраните у себя.

Ваш друг С.
Краснодарский край

А НА ДУШЕ НЕСПОКОЙНО

Однажды меня познакомили с "клевым" мальчиком — с "Каем". В стае ребят он был боссом. Я ему понравилась, от него многое узнала. Я не стала "групповой", осталась "девочкой": Кай не хотел всей этой

фигни. Потом оказалось, что он — фарцовщик.

Мне понравилась "богатая" жизнь. У меня появились импортные тряпки, дорогие сигареты. Меня уважают, а может быть, боятся из-за Кая. Сейчас ему скоро в армию, он мне сказал: "Вернусь — поженимся. Работать ты не будешь, денег у нас будет много".

Все, казалось бы, хорошо. Но нет у меня удовлетворения от такой жизни. Мне кажется, что я иду куда-то не туда... Может быть, я еще совсем ребенок, а может быть — просто глупая. Я не хочу потирать Кая, но он не бросит свою "крутую" работу. А на днях он сказал мне: "Малышка, учись жить хорошо. Ты ведь не хочешь всю жизнь лазить по помойкам?"

И все же для него главное — деньги. Что же происходит со мной? Подруги говорят, что у меня все клево, что мне крупно повезло — как же, "кайфовая" жизнь! А на душе неспокойно.

А.Л.
г. Воронеж

ПОЧЕМУ ОН ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ?

Два месяца назад на автобусной остановке я познако-

ГОВОРЯ ОТКРОВЕННО

милась с парнем. Мы стали встречаться. Алексей много раз приглашал меня на дискотеку, но я не хотела туда идти — там очень много пьяных парней, да и девушек.

Я стала бывать в его компании, где пять парней и три девушки. Все они курят и выпивают. А я не курю и не пью, и они смотрят на меня как на больную. Когда на дне рождения Алешиного приятеля дело дошло до водки, я ушла оттуда. Алеша на меня обиделся... Но через два дня я сама пришла к нему. Мы сидели в комнате, когда раздался звонок в дверь, по голосу я узнала его приятеля. Увидев на вешалке мое пальто, он сказал: "Привалила все-таки сама, коза!"

Я мигом ушла. Сейчас Алеша ходит за мной, но мне не хочется с ним встречаться: когда его друг меня оскорблял, он ведь должен был защитить меня. Но он этого не сделал. Почему?

**Вика Т., 16 лет
Вологодская обл.**

Я — МЕТАЛЛИСТ

Я очень люблю тяжелую музыку, без которой не представляю себе жизни. Почему металлистов так ненавидят

окружающие? Почему на нас льют столько грязи, считают "отбросами общества", дураками? Может быть, оттого, что считается, что тяжелый рок дурно влияет на психику? Но это абсурд! Например, на меня рок действует успокаивающе, я всегда делаю уроки, слушая музыку, даже могу заснуть в наушниках. О какой расстроенной психике можно тут говорить? Между прочим, я и учусь хорошо.

И еще: почему нас, металлистов, ругают и забывают о другой молодежи — люберах, гопниках и других, которые лазают по городам, отбирают деньги, избивают друг друга просто так, от нечего делать, дерутся двор на двор, район на район? Мы не деремся. А если я приеду в Питер, Москву или Самару, тамошние металлисты накормят, дадут переночевать, если негде, помогут деньгами. Металлисты не вредны обществу по сравнению с гопами и другими группами. Есть, конечно, всякие и среди нас, но нельзя же лить грязь на всех металлистов. Да и многие ни черта не разбираются в музыке, просто навешивают на себя побрякушек, а сами и двадцати групп не слышали.

**Сергей Б.
г. Оренбург**

Анатолий МАКАРОВ

ВЫСТАВКА СТЕКЛА

ПОВЕСТЬ

То ли Вадим собирался куда-то и расхаживал по квартире, завязывая галстук и застегивая брюки, то ли, наоборот, вернулся с работы, блаженно сбросил ботинки, скинул пиджак, галстук рванул на сторону и распустил ремень – в памяти засело именно это ощущение разобранности, затрапезности, в каком он застыл перед телевизором, включенным просто так, для житейского фона.

На экране телевизора был Севка Шадров, и уже давно, видимо, был, судя по тому, как плавно и накатисто лилась его речь, миновавшая момент неизбежного разгона и дипломатических оговорок. Вадим тотчас узнал старого приятеля, да чего там, лучшего друга юности, впрочем, тот не слишком и изменился. Стал, пожалуй, даже лучше, чем в былые незабвенные годы, юношеская расплывчатая миловидность вылилась в зрелую завершенность черт, в приятную мужскую сдержанность, оттеняемую временами прежним безотчетным лукавством в глазу. Телевизор у Вадима стоял допотопный, черно-белый, однако он мог поклясться, что разглядел на лице у друга стойкий спортивный загар. К которому так шли рубашка в тонкую полоску, должно быть голубая, и вязаный галстук, должно быть бордовый.

Увлечшись внешним видом старого товарища, Вадим совершенно не вникал в смысл произносимых им речей, между тем они вполне соответствовали его внешности, касались вопросов самоуправления, самофинансирования и, уж конечно, выхода на внешний рынок. О необходимости его завоевать Севка, то есть Всеволод... Михайлович?... да, да, Всеволод Михайлович рассуждал особенно убедительно, словами отнюдь не стандартными, не протокольными, да и с досадой в голосе не чиновной, личной, искренней и потому обаятельной. Вадим пытался догадаться, на каком поприще подвизается друг детства, но в это время

репортер с чувством поблагодарил Всеволода Михайловича за интервью. Оператор на прощание показал его крупным планом, молодого, сильного, уверенностью в себе внушающего телезрителям веру в успех предпринятого им дела, — ненарочитой, раскованной элегантною старого друга Вадим был внезапно подавлен, как-то очень явственно ощутив свою домашнюю расхристанность, прохуdivшиеся на пальцах носки, рубаху, выпростанную из расстегнутых брюк...

В последние десять—пятнадцать лет они почти не встречались, то есть не встречались вовсе, мало ли что могло произойти за эти годы, и все же видеть Севку по телевизору было странно. Странно в качестве руководящего лица, номенклатурной единицы, ответственного работника, и вообще странно, Вадим не знал среди своих знакомых другого человека, который бы до такой степени не то чтобы презирал, но просто на дух не принимал всю нашу официальную пропаганду. Ироническая желчная улыбка преображала его юное лицо, когда он брал в руки газету, сообщая ему горькое, оперно-мефистофельское выражение. С такой миной, острил Вадим, советские газеты мог читать эмигрант, для которого вроде бы известные слова на самом деле лишены смысла. Севке эта шутка, видимо, льстила, он принимался издевательским голосом зачитывать передовицы и даже по поводу сводки погоды брезгливо морщился: не может быть, чтобы это обещание сбылось...

Такое направление мыслей среди приятелей и девушек обеспечивало Севке завидную репутацию незаурядной личности, однако при поступлении в вуз грозило катастрофой. Ведь известно было, что на устных экзаменах речь вполне может зайти о вопросах текущей политики, как пить дать зайдет, близкие уговаривали Севку подготовиться в свете последних решений и заклинали не ляпнуть в ответ на вопрос экзаменаторов что-нибудь свое обычное по поводу "анонимного стиля советской прессы". Это беспокойство тоже льстило Севке, в ответ на увещевания старших товарищей и в особенности девушек он загадочно улыбался, то ли снисходя к их просьбам, то ли оставляя за собой право поступать по склонности вольнолюбивой природы.

К экзаменам они готовились втроем: Севка, Вадим и Инна Шифрина. Правильнее сказать, готовила их Инна, в год окончания школы не поступившая в МГУ, поскольку бывших школьников без двухгодичного трудового стажа туда не принимали. Вадим же с Севкой с первого захода просто-напросто не набрали очков. В год их поступления, в самый момент консультаций, сочинений, собеседований, на московских улицах бушевал фестиваль молодежи, которого они ждали и о котором вспоминали потом как о главном событии жизни, поменявшем все представления о ее ценности и смысле. Они уходили из дому, будто на работу, рано утром и прибредали домой на рассвете, опустошенные и обессиленные будто любовью, улыбающиеся туманно и блаженно, не способные воспринимать никакие упреки, поскольку в ушах у них засели музыка, восторженный рев толпы, обрывки впервые услышанных мелодий и неожиданно внятных иностранных слов. Помнится, на вступительных экзаменах в тот год они блеснули именно знанием иностранных языков, умением раскованно изъясняться и болтать, обретенным бук-

важно в считанные дни, по остальным предметам отличиться не удалось, о чем они в те дни несколько не жалели. И потом не жалели, вкалывая почтовыми агентами, грузчиками на книжных складах, разно-рабочими в разных шарашках и конторах.

И вот, поднабрав заветный стаж, Севка с Вадимом вновь готовились к поступлению в университет. А Инна время от времени устраивала им проверки, гоняла взад и вперед по всем курсам, заставляла писать под ее диктовку провокационно-заковыристые тексты. С обоими подопечными она держалась равно приветливо и зачастую объединялась вместе с Вадимом для того, чтобы осудить Севкину безалаберность или все тот же его не знающий ни удержу, ни приличий нонконформизм. Севка недавно овладел этим термином и, примерив его на себя, чрезвычайно им форсил. А Инну этот форс выводил из себя, в отчаянье повергал, пылая щеками и глазами сияя от праведного возмущения, она доказывала Севке, что в разумном компромиссе нет ничего постыдного, в конце концов каждое общество требует от своих граждан соблюдения некоторых основных правил. Севка, снисходительно улыбаясь, замечал, что верноподданничеству Инна обучилась в своем семействе. Ее родителями были процветающие московские адвокаты. Инна вспыхивала еще жарче, черные ее глаза, вздернутые к вискам, ни у кого больше ни до, ни после Вадим не встречал таких глаз, наливались слезами, она успевала только произнести: не приведи тебе Бог, Сева, испытать то, что пережили мои родители. Тут она вскакивала и хлопала дверью, Вадим бежал за ней на лестницу, едва догонял, с трудом останавливал, успокаивал, радуясь безотчетно той внезапной нежности и как бы оправданной интимности, какие неизбежно возникают во время этого процесса, выходило, что Севка от щедрот своих вроде бы дарил ему эту сомнительную, запретную радость. И со стороны Инны это тоже было единственной узаконенной уступкой его чувствам, совершенно ею не разделенным, поскольку в ее сознании Вадим существовал как непременное и порой докучливое приложение к своему другу.

Вадим это прекрасно понимал. И, скрепя сердце, мирился со своим положением. Разве в ином случае выпало бы ему счастье два раза в неделю находиться с Инной в одной комнате, видеть ее древнеегипетские, вздернутые к вискам глаза, слушать низкий, вовсе не девчоночий голос, а изредка и смех, словно бы неуверенный, робкий, журчащий? В ином случае ему пришлось бы подкарауливать Инну где-нибудь в окрестностях ее дома, чтобы столкнуться с ней якобы невзначай и получить в ответ на свою дурацкую улыбку формально вежливый кивок. А во время занятий Инна иной раз бывала даже ласкова с Вадимом, поскольку именно он служил надежной нравственной опорой подготовки к экзаменам. Севка особого рвения к урокам не проявлял, он как бы позволял друзьям волноваться по поводу неясного своего будущего и со стороны же снисходительно наблюдал за их страхами и трепыханиями. И чтобы окончательно повергнуть их в состояние паники, отпускал такие комментарии к последним речам всемирно популярного советского лидера, что у Вадима перехватывало дух. Он и сам был непочтительным мальчишкой пятьдесят шестого года, яростным спорщиком,

задавателем провокационных якобы вопросов на собраниях и уроках истории, рассказчиком, а вернее пересказчиком ехидных анекдотов, за один день облетавших всю Москву, обожателем уже незапретного, но еще подозрительного джаза, тайным и пугливым слушателем Би-би-си, сочинителем капустников, в понимании крокодилских фельетонистов слыл стилигой и нигилистом, однако про себя, в глубине души, знал, какой озноб пробегает у него по спине при звуках старых красноармейских или революционных песен. А для Севки тем, не подходящих для иронии, для злоязычия, для светского холодного ерничества, не существовало вовсе. Не только газетам и радиопередачам не верил он, но и вообще всякому пафосу, в чем бы он ни сказывался: в фильмах ли, в спектаклях, в конфликтах ли неяркой российской обыденности. Иногда в кино, ощущая в горле мучительно-сладостное першение, Вадим от полноты чувств опасался повернуть голову в сторону друга, у Севки на губах блуждала в такие мгновения снисходительная улыбка, все больше отдающая презрением.

Вадима эта улыбка приводила порой в неистовство, Инна от нее до слез страдала, и оба они даже представить себе боялись, как оскорбит она университетских преподавателей, если Севка по обыкновению позволит себе прокомментировать их вопрос или замечание. Чуть ли не на колени перед ним падали: Сева, придержи язык! В ответ на мольбы он улыбался еще снисходительнее и обиднее: Московский университет не то заведение, ради которого стоило бы отказываться от своих маленьких слабостей и привычек. Подтекст при этом был таков, что, мол, если уж отказываться, то ради тенишевского училища или какого-нибудь колумбийского университета.

Впрочем, иногда Вадим догадывался, что безбрежное Севкино свободомыслие – вещь не такая уж естественная, не такой уж плод самостоятельных исканий независимого ума. Эта догадка посещала его в те дни, когда они вместе с Севкой встречали кое-кого из Севкиных взрослых знакомых. Вообще-то они были знакомыми его родителей: матери-художницы, расписывающей платки в каких-то артелях, и не жившего с ними отца, переводчика с испанского и португальского. Обычно Вадим и без Севкиного комментария догадывался, что это люди оттуда, потому что среди его родственников и соседей они тоже попадались, да и вообще в те годы их можно было тотчас безошибочно узнать в каждом трамвае, во всяком вагоне метро. Особая поджарая худоба недомашних, несемейных, казенных людей отличала их, недреманная недоверчивая настороженность, даже интеллигентам дворянских кровей сообщавшая что-то волчье, особые глубокие морщины вдоль щек, почему-то сразу заставляющие думать о не виданной никогда вечной мерзлоте.

Понятное дело, что крайняя резкость суждений свойственна была возвращенцам "оттуда", нескрываемая скептичность по отношению к речам и постановлениям, в выражениях они не стеснялись, ученые сентенции вдруг приправляя не разгульно-болтливый, не вальяжный, остревенелым матом, который поразительно подходил к их навеки осипшим и махоркой прокуренным голосам.

Вот им-то Севка и подражал. У них перенимал эту лихую манеру

выражаться, ухмыляться насмешливо, класть на все прожекты новейших идеологов, обещавших догнать и перегнать Америку и построить коммунизм на глазах нынешнего поколения. Была тут, однако, одна тонкость, которую Вадим улавливал страдальчески, как музыкант фальшивую ноту: у тех людей "оттуда" и даже у их детей, многие годы носивших у себя на лбу несмываемое тавро, злая раздражительность и сухой гневливый скепсис не были ни позой, ни игрой, они за них сполна расплатились выбитыми зубами и обмороженными пальцами, надорванным здоровьем, пропащей своею судьбой. А Севка будто бы пытался к этой судьбе на хляпу присоединиться, как за несколько лет до этого тшился из себя изобразить бывалых фронтовиков подростки за войну молодняк или как дворовые ребята, примеряя на себя забубенную бластную долю, изо всех сил старались казаться урками.

Все эти соображения пришли Вадиму на ум много позже, тогда же он просто дивился Севкиной свободе в поступках и мыслях и, наверное, им завидовал. Конечно, завидовал, чего там, не только потому, что именно эти свойства друга производили роковое впечатление на Инну, но оттого, главным образом, что сам он этих свойств был лишен на-чисто. Его постоянно что-то грызло, что-то угнетало, какое-то беспокойство, какая-то неуверенность. Перед сдачей вступительных экзаменов они, естественно, усилились, превращая Вадима в раба собственных страхов и опасений. А Севка во время тревожных разговоров, во время обсуждения всевозможных слухов и выработки стратегии совместных действий предпочитал рассуждать о нравах западных университетов, куда молодые люди просто записываются по своему усмотрению, или же насвистывал какую-нибудь вдруг проשמевшую по стране лагерно-геологическую песню, по обыкновению фальшиво. Однако ж к экзаменам все же готовился, поддаваясь увещаниям Инны и Вадима. А иной раз сам проявлял чудеса неслыханной, прямо-таки западной деловитости, отключая телефон, заваривал время от времени крепкий кофе, в перерывах между занятиями тягал поржавевшую гирию дореволюционного образца, добытую в каком-то сарае.

Накануне письменного испытания благообразно запаслись шпаргалками с учетом вероятных тем как конъюнктурно-политического, так и классического свойства.

Не так уж нужны были сами по себе эти хитроумные "шпоры", сколько придавали они некое надежное самоощущение, будто оружие, которое никогда не держали в руках, или большие деньги, каких никогда не видывали.

Договорившись, что писать сочинение усядутся в один ряд, парни по краям, Инна посередине, с тем, чтобы, не вызывая подозрений, проглядеть работы своих подопечных на предмет ошибок.

Судьба, однако, с первых же шагов расстроила их планы. Выяснилось, что писать сочинение абитуриенты будут не в огромном классическом амфитеатре, где всем хватило бы места, а в нескольких тесных аудиториях, похожих на заурядные школьные классы. На пороге одной из них компанию властно разделили, именно за Севкиной спиной решив закрыть дверь. Заискивая и канюча, Инна умолила, чтобы ее тоже про-

пустили в это помещение. На Вадима она, проскользнув в щель, даже не оглянулась. Раньше обиды его охватила паника, привыкнув к мысли, что на экзамен они идут сплоченной командой, он почувствовал себя ребенком, потерявшим маму. Но все же взял себя в руки и с отчаянием штрафника побрел в соседнюю аудиторию. Какую тему выбрал он из трех предложенных, почему-то не осталось в памяти. Вероятно, по причине все того же крепко запомнившегося перепуга. Кажется, речь шла о Чехове. Скорее всего, о "Вишневом саде", хотя, может, и о рассказах. Сначала ему было непривычно в одиночестве. К тому же обида скребла под сердцем, он, конечно, не сомневался, что в момент выбора Инна бросится на помощь Севке, но то, с какой безоглядностью она забыла про него, смертельно уязвило Вадима. Закусив губу, он принялся писать и к концу первого часа заметил с удивлением, что одиночество и необходимость рассчитывать лишь на самого себя придали ему сил. А тут еще очнулась в нем желанная, редко посещавшая его бесшабашность, начисто задавившая противный мандраж и обыкновение проверять себя поминутно. Он писал, будто стихи, по вдохновению, не изводя себя и не сдерживая осторожными соображениями о запятых, тире и прочих коварных знаках препинания.

Некая высшая справедливость проявилась в том, что за сочинение он получил пятерку. А Севка с Инной, что вовсе странно, по тройке. Должно быть, высшая справедливость сказала и в этом, больно уж легко пренебрегли они своим товарищем. Хотя, конечно, Вадим вновь об этом подумал, не могли не пренебречь. Во всяком случае, на устных экзаменах он действовал уже вполне самостоятельно, без оглядки на чью-то помощь.

Севка, между прочим, на устных экзаменах держался осмотрительно и вольностей сознательно избегал. Хотя, быть может, вопросов, чреватых проявлением вольномыслия, ему попросту не задавали.

В университет они поступили все трое. На вечернее отделение.

Теперь, проходя изредка мимо старого университетского здания, Вадим про себя дивился тому, что воспринимает его сугубо исторически, будто достопримечательность в интуристовском проспекте: стиль такой-то, школа такая-то, один архитектор построил, другой восстанавливал после известного пожара. Сердце не замирало, не екало, и светлая грусть не туманила взгляд хотя бы на мгновение, сквозь решетку он смотрел равнодушными глазами провинциала, торопящегося из ГУМа в Военторг. А ведь ничего там не изменилось, все на месте, и колонны, и лестницы, и арки, и оба революционных демократа стоят по краям двора, склонив свои многоумные головы. Ничего не изменилось, и в то же время изменилось буквально все, потому что пуст и чинен теперь университетский сквер, подобно музейному или больничному в дурную погоду, ни души не видать на просторных садовых скамейках, некогда с утра до вечера забитых разнообразным народом.

Тут были провинциалы в немых, заношенных, перелицованных пиджаках, съехавшие в этот двор из глубин материковой, бездорожной России, кавказские щеголеватые донжуаны в узконосых ботинках и в нейлоновых рубашках химической белизны, красавицы-филологини, чьи

заманчиво-упоительные ноги противоречили их же ученым очкам, негры в иностранных штанах и в советских грубошерстных пальто единого приютского фасона, спортсмены в красивых свитерах, наезжавшие в университет только затем, чтобы получить преподавательский автограф в зачетной книжке да покрасоваться в том же дворе, а также беспечные личности весьма растяжимого возраста, из тех, кого в старой России называли вечными студентами. Исключенные, отчисленные, ушедшие в академический отпуск, провалившие подряд две сессии, отправленные на перевоспитание в рабочие коллективы, но так никуда с этого двора и не девшиеся, осевшие в нем, как некогда пропойцы оседали на Хитровом рынке, завязнув в его бесконечной тропотне на этих вот просторных скамейках, в анекдотах, в слухах, во флирте, в пересказе романов и фильмов, в вечном соображении, у кого бы стрельнуть на бутылку и где бы провести вечер. И еще в уму непостижимых забавах типа игры в спичечный коробок.

Севка в скором времени заделался чемпионом этой простой до идиотизма игры и вообще стал во дворе одним из первых людей, которые всегда нарасхват, которых зовут из компании в компанию то в одну обшагу, то в другую, на Горы, на Стромынку, на Трифоновку к актерам...

А если и не зовут, то уйти не дают из теплого своего круга, из задушевной своей бражки, хохмящей, дымящей "Вегой" и "Джебелом", заурядное безделье возведшей в степень почти что жизненного предназначения. Сколько раз, явившись в университет на лекции в порыве вдохновенной сосредоточенности, Севка до благородных ступеней амфитеатра так и не добирался, застревал на подступах к ним в компании вечных студентов, бывалых холостяков, заслуженных "академиков", таких же, как и он сам, златоустов, острословов, любителей сочинить каламбур на мотив набившей оскомину народу, с утра до вечера звучащей по радио песне "Сегодня мы не на параде..."

Инну это Севкино времяпрепровождение повергало в отчаяние, тем более что среди вечных этих студюозусов, неприкаянных выпускников и вообще деклассированных субъектов крутились неотступно две или три, уж и неизвестно как их назвать, то ли девицы, то ли полудевы, такие же неприкаянные и деклассированные. Про одну из них ходили слухи, что она поэтесса, сколь гениальная, столь и непризнанная, Инну, однако, не горькая ее отверженность настораживала, а вечная ее непромытость в сочетании с настырной порочностью. Откровенно говоря, малоопытный в те годы Вадим эту самую порочность тогда не очень-то и замечал, но Инна по-женски нутром ее чувствовала и тем более комплексовала, что подозревала небезосновательно, как притягательна она для Севки. И впрямь красавец Севка, на первый взгляд вовсе не логично и не понятно, вечно был окружен какими-то невзрачными, неяркими девушками; надо думать, Инна раньше лучшего друга Вадима догадалась, чем они его завлекали.

Планы у всей троицы были конкретные: после первой же сессии, максимум после второй перебраться на дневное отделение. Опытные люди предсказывали, что после второго курса такой переход не составил

бы никакого труда, поскольку к этому времени начинаются массовые отчисления полноценных студентов за неуспеваемость и прогулы, дожидаться этого благословенного времени Вадим с Севкой не могли, будущей осенью им предстояло идти в армию. "Под знамена", как любили они выражаться. Чтобы встать на учет на военной кафедре и обучаться военной специальности без отрыва от прочей науки, они должны были кровью из носу оказаться на дневном отделении до начала призыва.

Инна, разумеется, давала понять, что сама она в том случае, если вакантных мест на дневном освободится немного, претендовать на переход не будет. Друзья же негласно договорились действовать солидарно, просить перевода вдвоем, преимуществ друг перед другом не добиваться, в конце концов, если свободное место окажется одно на двоих, пусть начальство беспристрастно само решает, кому из них оказать предпочтение.

Одно было несомненно, по части успеваемости следовало опередить всех прочих однокашников по вечернему отделению.

После летней сессии оба друга подали в деканат заявления о переводе на стационар. Их обнадежили признанием, что о лучших студентах факультет не может и мечтать, восхитились их пятерками – как, даже у доцента Архипова безоговорочное "отлично", это, знаете, дорогого стоит, – однако объяснили, что окончательно вопрос решится только в августе перед началом нового учебного года.

Прятели слегка приуныли, ощутив, что настойчивое их усердие не принесло плодов, что упорный их марафон не был вознагражден желанным призом, Инна изо всех сил старалась поддержать в них боевой дух. Вращалась в неких кругах, близких к университетским верхам, втиралась в доверие к секретарям декана, кокетничала направо и налево со старшекурсниками из факультетского комитета комсомола, в речах ее появилась особая недосказанная основательность осведомленного, "вхожего" человека. Из слов этих получалось, что беспокоиться нет решительно никаких оснований, надо уходить с работы и отправиться отдыхать, с тем чтобы появиться в Москве во второй половине августа.

Как всегда, Иннины слова вселяли в Вадима уверенность, наполняли душу лирически трепетной надеждой, и все же не под их влиянием взял он расчет на Центральном почтамте, где таскал тяжеленные джутовые мешки с посылками украинских канадцев и австралийских русских. Не Инне поверил он окончательно, а ребятам из того факультетского бюро, которые, формируя студенческий отряд на целину, наемкнули претендентам на перевод, что их участие в нем будет истолковано учебной частью в высшей степени положительно. Намек этот прозвучал убедительно, в самом деле, у кого подыметесь рука преградить путь на стационар отличнику, наравне со всеми законными студентами продублированному целинными ветрами, обожженному белым казахстанским солнцем?

Без печали, хотя и с некоторым укором совести, как же – все-таки полтора месяца жить без зарплаты, на материнском иждивении, – Вадим расстался со своим почтамтом. Севка тем более без сожаления

вылез из подвала своего "почтового ящика", его материальное положение, совсем не блестящее, было все же чуть прочнее, нежели у друга. В поездку собирались вместе, шатались по спортивным и охотничьим магазинам, забредали в Военторг, Севка, как старый походник, наставительно руководил Вадимом, какой брать рюкзак, какие носки и ботинки, и при этом еще успевал завести шашни с хорошенькими продавщицами. Изображал из себя старого таежного или пустынного волка, отвыкшего от созерцания женской прелести и красоты. Продавщицы вряд ли доверяли Севкиному понту, но все равно млели. Вечером накануне отъезда выяснилось, что Севка не едет, что-то там у него случилось с одной из многочисленных его бабушек или тетюшек, которые души в нем не чаяли, да и в ком еще могли они чаять, если были все как на подбор одиноки, доживали свой век в покосившихся особнячках в районе Бронных или Пречистенки, в комнатках, набитых пожелтевшими книгами в переплетах ручной работы, бронзовыми лампами и подсвечниками, допотопными безделушками из камня, стекла и фарфора, девами, всадниками, орлами, Наполеонами в сюртуке и походной шляпе, всякой прочей дребеденью.

Вадим даже обидеться не успел по-настоящему, пережить как следует внезапную свою оставленность, так сразу и впервые все на него надвинулось и навалилось: бесплацкартный вагон длинного полупасажирского, полутоварного поезда, долгий путь с песнями, с выписками, с дружбою до гроба, с пестрыми, грязными, взбудораженными станциями, словно пребывающими по-прежнему в поре военных эвакуаций и беженства, с неожиданными домашними обедами на перронах, с отставаниями и догоняниями, со страшным соседством столыпинского вагона где-то на глухом полустанке. Видение под нулевку остриженных шишковатых низколобых голов, возникшее за тюремной решеткой окон, мучительно долго потом не уходило из его памяти.

В Москву Вадим вернулся в последние дни августа, исхудавший, побуревший от казахстанского нещадного солнца, чуть ослабевший от беспрестанных кишечных недомоганий, и в тот же вечер без звонка побежал к Севке. Там он застал вовсе не известную ему компанию девушек и парней, веселых, романтических, празднично загорелых, все они только что приехали из Коктебеля. То, что их переполняло теперь, не было просто бурными, наперебой воспоминаниями о беззаботных днях, нет, тут давало себя знать нечто иное, некая совместная счастливая приобщенность к чему-то небудничному, торжественному, прекрасному. То ли к тайне, то ли к братству, то ли к образу жизни. Севка, как всегда после знакомства с новой для себя средой, ощущал себя не просто ее старожилом, но как бы хранителем сокровенных ее заветов. Будто о своем хорошем знакомом, говорил о Максе, о покойном Волошине, так надо понимать, язвительнее, чем обычно, отзывался о последних журнальных новинках, а уж при именах популярных поэтов, еще недавно им ценимых, улыбался с презрительным снисхождением. С необычайным воодушевлением, вдохновившись стаканом шампанского — оцени, дурак, это же настоящий "Новый свет"! — Севка декламировал

Гумилева: "Чья не пылью обтрепанных хартий, солью моря пропитана грудь..." Чеканная фразировка свидетельствовала о том, что свою собственную загорелую грудь Севка тоже не без гордости ощущает пропитанной солью карадагских бухт.

Вадим попытался заговорить с ним о формальностях перехода на дневное, как-никак до начала учебного года оставалось всего лишь два дня, Севку напоминание о делах не выбило из состояния блаженной эйфории.

– Да, да, надо будет туда зайти, – ответил он как-то неопределенно и вновь окунулся в стихию возбуждавших его строк: "Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет..."

Рано утром с чувством сосущей тревоги Вадим прибежал на родной и в то же время не утративший для него некоей официальной отчужденности факультет, на трясущихся ногах переступил порог учебной части и вместо былых приветливых и радушных лиц – как же, круглый отличник – встретил чиновный холодок и подозрительную уклончивость.

Ему сказали, что вопрос о его переводе еще не рассматривался, деканат был загружен более неотложными проблемами, надо же понимать, что события, которыми живет страна, требуют некоторого изменения учебных программ и перестройки научного процесса...

И при этом отводили глаза, совсем как Севка, декламирующий железные строфы "Капитанов".

– Но ведь первое сентября – послезавтра, – пролепетал Вадим, чувствуя себя настырным до дерзости.

На это ему ответили, что лично его судьба не единственная, которая требует рассмотрения. Наивно было бы так думать, он не один такой. Между прочим, некоторые судьбы тоже требуют участия.

Вадим на мгновение самолюбиво оскорбился, вспомнив, как всего два месяца назад в этом же казенном помещении дивились его уникальности – как же, единственный на все вечернее отделение круглый отличник, да еще едет с "дневниками" на целину, – в ту же почти секунду устыдился своего эгоизма, ведь договаривались же они с Севкой не добиваться друг перед другом никаких преимуществ.

Тут же из телефонной будки возле университетских ворот Вадим позвонил Севке. Соседка ответила, что его нет дома. Он набрал Иннин номер, там никто не ответил.

Бессознательно Вадим побрел по направлению к ее дому. Один ее вид мог теперь успокоить, один взгляд ее вздернутых к вискам глаз внушал ему желание бороться, пробиваться, что было сил карабкаться вверх.

Разумеется, Инну он не встретил, такие заранее рассчитанные встречи никогда ему не удавались, хоть весь век проторчи возле заветного парадного, другое дело – счастливые встречи ненароком, вдруг, нос к носу посреди московской толкотни. Впрочем, на них ему тоже не слишком везло.

В понедельник первого сентября, неизвестно на что надеясь, Вадим побрел в университет.

В знаменитый сквер он явился во время перемены, когда пространство за благородной чугунной оградой представляло собою наиболее праздничное, вдохновляющее зрелище. Загорелая молодежь, пусть не ахти как одетая, но все же по-своему, на свой вкус и лад пренебрегающая общепринятыми, идейно не порочными стилями и манерами, независимая, голосистая, уверенная в себе и в том, что с ее приходом в большой мир, в этом мире произойдет нечто небывалое и неслыханное...

В студенческой смешливой толпе Вадим вдруг издал различил Инну и Севку. И замер на месте, не желая удостовериваться в озарившей его страшной догадке. Впрочем, удостовериться можно было и издал: совершенно своими среди студентов дневного отделения выглядели его друзья, теми самыми новичками, неопитами, которые, приобщаясь к новому обществу и к новой вере, изо всех сил имитируют свою приверженность к здешним нравам и законам, самыми своими среди своих тщатся выглядеть. А потому особенно оживленны, особенно приветливы со всеми и каждым, излучают особенный свет приобщения и посвященности.

Прозвенел звонок, и студенты потянулись к заветным дверям, Инна и Севка вместе с другими, не первыми, как боязливые зубрилы, во время переключек искренне довольные тем, что они тут, на месте, не прогуляли и не опоздали, но и не в хвосте, среди легкомысленных простофиль, отпетых лентяев и самонадеянных факультетских королей, спортсменов и записных отличников.

Вадим стоял там, где остановился, метрах в ста от дверей факультета, и совершенно нелогично надеялся, что друзья, почувствовав на себе его взгляд или по другой еще более сокровенной причине, на него оглянутся, они не оглянулись. Как и в прошлом году, во время вступительных экзаменов, друзья исчезли в дверях, даже лопатками, даже затылками своими выражая, насколько они теперь о нем не думают.

Он как-то замедленно осознал, что, собственно, произошло. То есть особого усилия мысли не требовалось, чтобы сообразить: Инна и Севка пренебрегли всеми правилами товарищества, запросто нарушив их договор, в обход Вадима перевелись на стационар. Темнили, ссылались на болезни родственников, спланировали его на целину, чтобы обеспечить себе свободу рук, — подозревать друзей в таком тонко рассчитанном, осознанном коварстве было выше его сил. Подозрение не им наносило урон, а ему самому, сокрушительный удар, после которого он не мог устоять на ногах. Он еще не догадывался тогда, что грех дружеского предательства тем и страшен прежде всего, что нас самих калечит и позорит, на нас самих ставит жирный крест, и только во вторую очередь страшен тем, что перечеркивает в нашем сознании тех, кто нас предал.

В учебной части, куда он, ненавидя самого себя, приплелся с видом надоедливости просителя, на него посмотрели с таким раздражением, что он тут же дал себе слово больше ни о чем не просить, не осведомляться и на дневное отделение не стремиться. И тут же его нарушил, поскольку секретарь декана, то ли сжалившись над ним, то ли желая от

него отделаться, посоветовала ему с милосердно-презрительным видом сходить на прием к заместителю ректора по гуманитарным факультетам. По тону ее, мнимо участливого, по тому, с каким усилием сдерживала она досаду, было понятно, что в успех этой попытки она несколько не верит.

Человек, сидевший за большим столом под портретом, чем-то не уловимо напоминал того, кто был изображен на портрете, быть может, лысиной или любому глазу очевидными бородавками, но скорее манерами, общей выходкой, которые, как еще не подозревал Вадим, маленькие и средней руки начальники бессознательно заимствуют у начальников самых больших.

Впрочем, столу своему, должно быть принадлежащему к старому дореволюционному имуществу университета, заместитель ректора тоже соответствовал барской бледностью лица, самодовольно выпяченной губой, какою-то чуть заметной неестественностью позы, государственно-торжественной и расслабленно-домашней одновременно. Нечто похожее сквозило и в его улыбке, противоречащей чиновному духу кабинета. Эта не то чтобы добродушная, но во всяком случае дружелюбно-лукавая улыбка сильно Вадима обнадежила. Он вдруг с ходу поверил в мудрость и справедливость этого насмешливого невысокого человека, не то развалившегося простецки в державном проректорском кресле, не то придавшего своему мешковатому телу высокомерное положение особой начальственной вальяжности. Памятуя, что злоу потреблять руководящим временем нельзя, Вадим сразу же взял быка за рога, вполне складно и внятно поведал о своих отличных успехах, об участии в общественной жизни факультета упомянул ненавязчиво, но определенно, не рисуясь заслугами, рассказал и о целинной своей эпохе. И главное, упирал на данное ему обещание, ведь заверяли же, что он претендент номер один.

— Ну и что? — перебил его, по-прежнему улыбаясь, проректор, и Вадим с ужасом понял, что сильно заблуждался насчет его улыбки. Вовсе не дружеской она была, а неприкрыто злорадной и не о веселости нрава свидетельствовала, а об охоте потешиться над простаком-просителем. По дворовому детству были памятны Вадиму такие якобы весельчаки, своею приветливостью подманивающие простодушных для того, чтобы подстроить им зловредную каверзу — в дерьмо заставить вляпаться, мочой окатить...

— Сначала вас считали претендентом номер один, а потом нашлись претенденты первее, — откровенно, без обиняков говорил проректор, почти наслаждаясь полуобморочным состоянием Вадима.

— Но откуда же они взялись? — попытался Вадим опровергнуть безапелляционную реплику проректора и этим жалким своим сопротивлением вдруг откровенно его разозлил. Проректор соскользнул с кресла и нервно, суетливо заходил вдоль стола, опираясь на суковатую палку, которой Вадим сразу не заметил. Он понимал, вернее чувствовал, что пора уходить, что добиться он ничего не добился, так не ждатель же в самом деле, чтобы проректор выставил его из своего генеральского



кабинета. Но то-то и оно, что Вадиму вдруг вопреки покладистости своей натуры захотелось настоящего скандала, с криками, с дворовыми откровенными словами, с переходом на личности, по-дворовому же он вполне допускал, что проректор может перетянуть его суковатой своей палкой, и с восторгом бесстрашия ждал этого момента. И, быть может, дождался бы, потому что проректор, хромая по просторному кабинету, все больше кипятился и все нервнее дрыгал неполноценной ногой, все громче стучал тяжелой своей клюкой в благородный паркет и все язвительнее улыбался, обличая разных безыдейных хлюпиков, которые вместо того, чтобы честно выполнять свой долг в рядах наших доблестных вооруженных сил, норовят всеми правдами и неправдами пробраться на дневное отделение, изображая из себя отличников и активистов.

Но ничего, армия их всему научит, она их научит свободу любить, призовет к порядку. Вадим сквозь смертельную тоску подивился тому прямо-таки дворовому злорадству, с каким обличал его проректор, похожий внезапно на вечно раздраженного, перекошенного от мучившей его тайной злости на все и вся инвалида из соседней, пятой квартиры.

Удостоверившись в этом сходстве, сводившем все сильного университетского администратора до знакомого уровня квартирника, Вадим с отрадой совершенного отчаяния направился к двери. А дверь, старинная, департаментская, именно в этот момент распахнулась, и нарядная дама с роскошным букетом южных цветов решительным шагом устремилась Вадиму навстречу. То есть Вадима она стремительно обошла, будто досадное препятствие, потому что и букет, и щедрые, театрально преувеличенные слова благодарности предназначались, само собой, хозяину кабинета. Вадим успел заметить, что дама превосходно одета, сильно надушена и вздернутыми к вискам глазами напоминает Инну.

Удивительного в этом не было – просто по-свойски навестила ректора Иннина мать, как говорили, известный в Москве адвокат. Вадим не вполне представлял себе, в чем заключена адвокатская известность, но догадывался, что она сродни актерской, позволяющей с разными влиятельными людьми легко и обаятельно устанавливать короткие отношения, запросто открывать те самые заповедные двери, к которым и приближаться-то боязно, заветную просьбу излагать с такой миной простодушия и невинности, будто даже мысль о возможности ее невыполнения представляется невероятной и по-детски обидной. Как и детям, таким людям не отказывают. Потому-то, дошло до Вадима, Инна и переведена на дневное отделение, и Севка переведен, за него, как за роковую любовь своей дочери-идеалистки, тоже сумела похлопотать красивая и влиятельная Иннина мамаша.

Как ни странно, разгадка своего невезения и, наоборот, внезапного везения, выпавшего на долю его друзей, не расстроила Вадима, а скорее даже успокоила. То есть расстроила страшно, поскольку с откровенным предательством не в книге, не в кино, а наяву он встретился, по правде говоря, первый раз в жизни. Но в том-то и дело, что, распознав в про-

исшедшем самое настоящее, самое неподдельное предательство, именно предательство, а не что-либо иное, он словно примирился с действительностью. И не ходил больше в университет до самого призыва в армию.

А призывали его в конце октября, в один день с одноклассником Толиком Баркановым. Проводы справляли у Толика, как-то сподручнее оказалось. Может, оттого, что комната у Толика была больше. Очень большая комната. Но жуткая в смысле запущенности, Вадим, с детства привыкший к скудости обиталищ родственников и друзей, был потрясен ее прямо-таки хитрованской нищетой.

Угощение на столе было под стать железным койкам и некрашеным табуреткам – грубое, барачное, – вареная картошка, винегрет в эмалированном тазу, кое-как разделанная селедка, самая простая водка по двадцать один двадцать. Рюмок, понятно, не было, чокались гранеными мутноватыми стаканами.

Несмотря на это народ за столом подобрался вполне центральной, выпускники их родной школы и еще двух окрестных, короли динамовского катка, "шестигранника", самой греховно-модной танцверанды, знатоки джаза и зарубежных фильмов, приятели Толика по турпоходам и яхт-клубу, под Монтана постриженные парни и смазливые девушки из числа местных красавиц.

Вадим, пребывающий в состоянии странной душевной пустоты, в тени шумного Толика почти не воспринимаемый компанией в качестве уходящего в армию призывника, втайне надеялся, что на проводах появится Инна. Толик давал понять, что о сегодняшнем сборище ей известно. Сквозь непривычный, то возбуждающий, а то угнетающий хмель Вадим прислушивался к каждому входному и телефонному звонку. Инна, однако, так и не пришла. Зато в середине застолья в комнату ввалился Севка, с ходу засадил стакан водки, целовался с Толиком Баркановым и Вадима, как ни в чем не бывало, обнимал за плечи, один за другим провозглашал тосты за будущую успешную службу своих лучших школьных друзей, причем с таким вкусом и пониманием употреблял солдатские словечки, шутки и подначки, как будто бы сам как минимум только что накануне снял сапоги и гимнастерку.

Часам к одиннадцати вдруг выяснилось, что Севка куда-то пропал, а вместе с ним исчезла из поля зрения и некая девица, на которую на правах завтрашнего новобранца Толик Барканов имел вполне конкретные и скорые виды. Внезапная ярость, часто свойственная призывникам во время проводов, овладела вдруг обычно благодушным и веселым Толиком. С какою-то озорной агрессивностью сбавил с другою своей приятельницей заливчатый рок-энд-ролл, перецеловал страстно, вза-сос всех остальных девушек, а потом, рывком растворив свое едва приподнятое над асфальтом окно, выпрыгнул во двор. Кое-кто из парней устремился за ним, среди них и Вадим, в этот вечер странным образом зависимый от Толика.

Барканов обнаружил неверную подругу в объятиях Севки в укромном углу двора и со злым удовольствием врезал Севке по морде. Чувствуя

свою вину, Севка не сопротивлялся, только старался увернуться от безжалостных баркановских кулаков.

Зрелище скандала и крови отрезвило Вадима, и все же дальнейшее развитие событий не удержалось в памяти. Как успокоились? На чем примирились? Запомнилась только полутемная, закопченная кухня со множеством столов, тазов и корыт, в которой Севка, склонившись над железной проржавевшей раковиной, смывал кровь. Вадим стоял рядом и протягивал ему свой носовой платок. Севка мочил его и клал на переносицу, а в это время из темноты, из потаенных глубин коридора доносились женские стоны – видимо, Толик Барканов добился торжества справедливости.

...На сборный пункт, во двор в окрестностях Большого театра, они явились ранним сереньким утром. На самом деле Вадим любил и осень, и такую погоду. Октябрьская свежесть холодила наголо остриженную голову и напоминала невозвратные школьные годы, навсегда утраченное счастье предвыпускных месяцев, когда каждый день начинался обещанием счастья, открытий, прозрений, душевных потрясений и сердечного томления.

Уже стоя в битком набитом кузове грузовика, внимая крикам, плачу, будоражащим звукам неумелого оркестра, Вадим вглядывался в окружающую машины толпу – среди многих дорогих и знакомых лиц не было ни Севкиного, ни Инниного. И то сказать, не синяками же, наверняка выступившими за ночь, было Севке удивлять собравшуюся плачущую и поющую публику? А Инна, что ж... ей этот под нулевку стриженный, в старые телогрейки одетый, в стоптанные прохари обутый народ, орущий, гогочущий – гуляй, рванина! – никогда не был по вкусу. Она не любила ни массовых гуляний, ни танцев на асфальте, ни подначек, ни припевок, ни хохота, ни слез на народе.

Уже в более поздние годы Вадим вычислил некую странную закономерность своей судьбы. Все то, чего он страстно желал, добивался изо всех сил, напрягая жилы и опасаясь сорваться, все это как назло не давалось ему в руки. Ускользало, выворачивалось, срывалось в самый последний момент. И долго потом отзывалось в душе физически ноющей надсадой. Зато и удачи нет-нет, да и скатывались ему на голову, как правило, в тот момент, когда он о них и думать не думал, да еще как бы на периферии его планов и намерений. Хотя, конечно, грех жаловаться...

Вот так он не сумел перевестись на дневное отделение и загремел в армию, в автобат Забайкальского военного округа, однако, уже свыкшись с мыслью, что три года из жизни придется вычеркнуть, был демобилизован из рядов вооруженных сил через год с небольшим. Это уж спасибо Никите Сергеевичу, решившему тогда для примера другим великим державам, для воодушевления поэтов, на радость матерям и на пользу народному хозяйству сократить численность Советской Армии на полмиллиона человек. Вадим в эти пятьсот тысяч попасть и не чаял, памятуя о невеликой своей удачливости, но вот неожиданно попал, о

чем объявил перед строем подполковник Сороковенко, и, как ни странно, вроде бы сначала даже не обрадовался этому известию, а произвольно о нем пожалел, как-никак, а к службе он вроде бы притерпелся, втянулся в службу.

Но потом, конечно, рвался домой, ночей не спал в общем вагоне жутко медленного, как ему казалось, поезда. В вагоне-ресторане пил портвейн и отвратительный тягучий ликер с такими же, как и он сам, вчерашними "дембелями" и на остановках выпрыгивал на перрон, бессознательно стараясь в воздухе учуять приближение родной столицы.

По старой памяти Вадим ждал в университете каких-либо трений и неувязок, однако восстановили его без звука и на дневное отделение зачислили почти что с распростертыми объятиями, как же, воин вернулся, уволенный в запас раньше срока благодаря миролюбивой инициативе родного советского правительства!

И потянулась нормальная студенческая жизнь, в меру рутинная и обыденная, вовсе не такая праздничная, какой представлялась ему в казарме, а также в то время, когда из вечерников он стремился перебраться в стопроцентные, дневные. Хотя без неожиданностей тоже не обходилось, вот первая: Севка ушел из университета. Не вылетел за какую-нибудь провинность, не был исключен за неуспеваемость, просто перестал появляться на лекциях и семинарах, как перестают ходить в спортивную секцию либо в драмкружок при Дворце пионеров.

Инна с неподдельным страданием, как и в прошлые времена Севкиных срывов и загулов, рассказывала об этом Вадиму и, кажется, не соображала, что сочувствия на этот раз в нем не находит. Не то чтобы злопамятно хранил он в душе свои обиды, хотя, пожалуй, и хранил, только не в смысле злопамятства, а в смысле нежелания с этими обидами расстаться, изжить их, изгнать из сознания.

— Ну ты хоть отдаешь себе отчет? — трагическим голосом вопрошала Инна. — Его ведь в армию могут забрать.

Только выкрикнув эти слова, она, кажется, поняла свою оплошность и осеклась. Но тут же нашлась, впрочем, и заметила, что ведь не всем так везет, как Вадиму, который благодаря внешнеполитической демагогии верхов счастливо отделался всего лишь одним годом муштры. А вот Толик Барканов до сих пор служит, и конца службы не видно.

Это была святая правда, Толик Барканов под сокращение не попал и продолжал трубить на Балтийском флоте. Другьям от него изредка приходили глянцевые открытки почему-то с изображением королевского дворца Сан-Суси и главной улицы демократического Берлина, которая еще недавно называлась Сталин-аллее.

А Инна, переходя на трагический шепот, рассказывала о компании, с которой связался Севка, взрослые уже, почти сорокалетние люди, а ничем не заняты, Бог знает с чего живут, по кабакам шляются, пьянствуют ночами напролет, да не просто так, а как бы с идеологической подкладкой, изображая из себя последних русских дворян, отпрысков древних аристократических фамилий.

— И Севка туда же, — вздохнула Инна, — он теперь всех уверяет, что

его дедушка был настоящий остзейский барон. Я засмеялась, когда впервые это услышала, так он, знаешь, что мне сказал? Что не мне со своим местечковым происхождением судить о его родословной. Как тебе это нравится? – Оскорбленная Инна сверкала черными глазами, в которых закипала готовая пролиться влага, и была от этого особенно хорошо. По этой причине Вадим прощал ей все ее унизительные треволнения за Севкино благополучие, которым сам Севка так демонстративно пренебрегал.

Впрочем, как оказалось, лишь до известного предела. Ибо от армии он все же сумел отвертеться, причем самым что ни на есть дерзким и безошибочным способом. Накануне призыва, когда недавние его друзья, мнимые аристократы, Рюриковичи и Олеговичи, пришедшие напутствовать его на воинскую стезю, рассуждали за бутылкой о боевой славе своих предков, преображенцев и фанаторийцев, Севка вдруг исчез из дому. Приятели не слишком и беспокоились, благо что напиток для продолжения волнующей, лстящей самолюбию беседы вполне хватало. Только и слышно было: "А великий князь Сергей Александрович...", "А графиня Пален..." Наконец, Инна не выдержала, хлопнула дверью. А через три минуты вернулась в истерике: "Идемте скорей во двор, с Севкой плохо!" Севка сидел на ступеньках крыльца, бледный в свете дворового фонаря, как от потери крови, еле слышным голосом объяснил, что поскользнулся на лестнице, упал и ударился затылком. Идти не может. Его принесли домой, уложили на диван, у него началась рвота. Вызвали "скорую" – по-быстрому убрали посуду, чтобы не навредить врача на подозрительные мысли. Врач сказал, что, судя по всему, имеет место сотрясение мозга, причем есть подозрение, что нешуточное. Предложил госпитализировать. Никто, разумеется, слова поперек не вымолвил...

Свидание со старым другом на телевизионном экране все-таки выбило Вадима из колеи. Он даже казнился этим, поскольку более всего на свете стыдился заподозрить самого себя в зависти. Потом, словно взглядевшись до дна души в собственные глаза, успокоился на мысли, что стыдиться нечего – завистью тут не поможешь. Тут пахнет чем-то по ощущению близким, но по сути совсем иным, сожалением о несостоявшейся судьбе, так скажем... Быть может, до того момента, как Севка, молодой, загорелый, похожий на какого-нибудь заграничного сенатора, возник на экране, эта самая мысль о собственной несостоятельности не была Вадиму очевидна. Просто и в голову не приходила. Жил, как все, тянул лямку, работу свою несмотря ни на что любил и в течение долгих лет не утрачивал предчувствия неясных, неопределенных, но манящих перспектив: вот-вот что-то случится, произойдет, переменится, заметят, оценят, нет, нет, не так вульгарно, короче, еще немного, и начнется та самая другая настоящая жизнь, в которую так убежденно верилось в студенческие годы... И вдруг в одну минуту стало ясно, что ничего не случится и не переменится, никакой иной жизни, кроме той, что вокруг, с ее обыденностью, нудьгой и маленькими радостями, никогда не будет. От жесткого этого сознания и радости эти сделались особенно жалкими,

и туманные перспективы, еще утром несомненные, разом рассеялись в вечернем воздухе. Все. Ничего больше не покажут.

Мучительно было думать о себе как о неудачнике, прожившем жизнь по чужому адресу, посягнувшем затесаться в компанию, даже знакомиться с которой не имел достаточных оснований. Ну уж, позвольте, то-то и оно, что имел, да и немалые, надо полагать, недаром ведь еще на третьем курсе, почти сразу после армии его принялись зазывать в только что открытый тогда институт.

Может, попади он тогда в тот самый институт, все сложилось бы совсем иначе. Видит Бог, не об упущенной карьере он жалел, но о самоосуществлении, ведь это же так естественно для любого мужика — осуществиться, реализоваться, уважать себя не за рост, не за красоту, а за что-то такое, чего никто, кроме тебя, не знает и не умеет. Не нажил он этого этакого, как выяснилось, не выработал, не освоил. А ведь вчера еще подавал надежды, слыл обещающим и способным, куда же подевались эти способности, почему обманули надежды? И отчего, по какой причине до сих пор ощущает он себя молодым человеком, ничего не подающим и никому не обещающим, но **м о л о д ы м**, в том уже неприличном почти смысле, что несолидным, невзрослым, не уверенным в себе, ни в своих правах? Ни за что всерьез не отвечающим? И ведь не один он такой на свете, целое поколение вокруг того же рода, плешивое, седое, беззубое и многодетное, но все еще на вторых ролях, на подхвате, одно утешение, что в джинсах и кроссовках. В какой момент сошло оно с круга, упустило тот самый шанс, который дважды судьба не предоставляет?

Впрочем, кому как, Севке вот предоставила.

Что ж, он рад этому. Действительно рад, хотя и уязвлен одновременно сознанием, что Севка оказался счастливым, удачливым пассажиром того самого поезда, что сам он на него безнадежно опоздал. Нет, вправду рад, потому что не только несостоявшейся судьбою принадлежал к своему поколению, но и всем лучшим в себе, по выражению пролетарского классика, был обязан ему же. Так вот лучшим из этого лучшего следовало, вероятно, считать чувство дружбы и товарищества. Оно у ребят, воспитанных в послевоенных горластых и жестоких дворах, было святым. Никакие родственные и семейные узы не шли с ним в сравнение. Друг — это было все. И родина, и семья. Опора, на которой зиждется свет. Данность, не требующая обсуждений.

Тот вечер навсегда застрял в памяти, сентябрьский, теплый, с легкими, набегающими, будто женские слезы, дождями. В начале десятого позвонила Инна и срывающимся голосом попросила спуститься на улицу. Прямо сейчас. Куда? Да прямо на угол соседнего переулка. Оказалось, что она звонит из автомата. Смушенный передавшей ему тревогой и в то же время странно обрадованный этим звонком, ведь раньше она никогда ему не звонила, а вот как случилось что-то, так сразу о нем вспомнила, Вадим выкатился из дому. Инна уже маялась на углу, в настоящей итальянской шуршащей, шелестящей "болонье", в платке, модно повязанном на старый крестьянский манер, концами вокруг шеи.

Вадим ни на секунду не упускал из виду тот тревожный звонок, которым переполошила его Инна, но все же безотчетно представил себе, позволил представить, что вся тревога в том и состоит, что она давно его не видела и не в силах переносить разлуку.

Первые же Иннины слова поставили Вадима на место, в который уж раз доказали, что страхи ее и волнения никогда не имеют отношения к поворотам его собственной судьбы:

– Севку взяли! – крикнула, но в то же время как бы прошептала Инна.

Как человек своего времени, Вадим тотчас понял, что она имеет в виду. Более семи лет прошло с тех пор, как по московским улицам перестали ездить по вечерам за три квартала узнаваемые, озноб по спине вызывающие "воронки", мало того, многие бывшие его пассажиры, навсегда помеченные особой манерой настороженно приглядываться к миру, воротились в родной город, но память о ночных звонках и стуке в дверь, об особо явственном гудении лифта и шуршании шин на пустынной улице все еще касалась сердца ледяными, безжалостными пальцами. И те памятные короткие глаголы по-прежнему не требовали пояснений в виде обстоятельств места и действия.

"Куда", "кто", "зачем" – уточнять не требовалось. Единственное, что спросил Вадим, было: "Когда?"

Инна ответила, что часа три назад. Днем после университета она звонила Севке, они договорились встретиться, он в последнее время вновь увлекся новыми друзьями, обещал, что ей будет очень интересно, а часа в шесть за ним заехала черная "Волга". Севкина мать в окно видела, как раз у их парадного остановилась. Двое мужчин пришли, молодых, вежливых. Показали какие-то корочки и пригласили Севку с собой.

– Пригласили? – переспросил Вадим.

Инна взвилась, в том смысле, что держались корректно, не грубили, не обыскивали, наручников не надевали, сказали, что с ним хотят кое о чем поговорить весьма ответственные товарищи.

– Ты ведь понимаешь, что это значит! – на этот раз уже в полный голос выкрикивала Инна.

И Вадиму стало страшно. Кто знает, а вдруг снова началось? Он даже не поинтересовался, за что замели Севку, разве заматают за что-то конкретное? Заматают, потому что пришла пора, вдруг даже не подумал, а кожей, сосудами, волосами сообразил Вадим, именно так бывало, как он знал по рассказам, в сорок девятом и тридцать седьмом. Хотя нет, как было в сорок девятом, он видел собственными глазами.

Усилием воли Вадим преодолел безотчетный накат ужаса. Сознание как будто бы прояснилось, однако между лопаток и внизу живота нет-нет да и пробегал противных холодок.

– Может, рассказать все твоим родителям? – осторожно предложил Вадим, памятуя о том, как щепетильна Инна во всем, что касается ее якобы сильно пострадавших некогда предков. Хотя, честно говоря, мамаша ее в кабинете проректора не производила такого уж страдающего впечатления и мысли об особой щепетильности не навевала.

– Все-таки люди закона... – несмело обосновал он свое предположение.

– То-то и оно, что закона! – горестно вздохнула Инна. – А ведь тут сплошной произвол! Не объяснили, что и почему, в чем обвиняют, в чем подозревают, втолкнули в машину, и – привет, только его и видели!

Последняя фраза показалась Вадиму чересчур театральной, да и картина, ею воссозданная, напоминала сцену из зарубежного детектива. – Так не бывает, – с преувеличенной уверенностью произнес Вадим и как раз в эту секунду сообразил, что бывает именно так, что нет у него никакой уверенности в том, что и самого его в ближайшие полчаса не остановят на улице и не впихнут в такую же черную "Волгу".

Должно быть, и Инне передался этот испуг, потому что внезапно она усорила шаги и вывела Вадима на Бродвей, или просто на Брод, то есть на улицу Горького.

Вадим презирал всю бродвейскую публику, хотя порой неосознанно за нею тянулся, за ее фасонами штанов и стрижек; теперь зрелище праздничной, чуть взбудораженной и вместе с тем уверенной в себе толпы отчасти его успокоило. Все идут куда хотят, кого хотят кадрят, где хотят тусуются, никого не останавливают, не замечают, не заталкивают в машины, случается ли такое на свете?

– Надо сообщить иностранным корреспондентам, – вдруг твердо, с обдуманной решимостью сказала Инна, и от этих безапелляционных слов у Вадима заглодело внутри. Мысль об обращении к западным журналистам не на шутку напугала. Каким-то заговором отдавала она, нелояльной ябедой, слезливым предательством. Это соображение угнетало Вадима почище страха, дворовая мораль под стать державной не одобряла жалоб на стороне.

А Инна, распалаясь и обнаруживая в низком голосе неизвестные, волнующие ноты, беспрестанно убеждала Вадима, что о Севкиной несчастной судьбе, о произволе, творящемся в нашей проклятой стране, должен узнать весь мир, те самые люди доброй воли, которые оплакивают алжирских феллахов и негров Литл-Рока, но ни сном ни духом не ведают о том, как в столице прогрессивного человечества среди бела дня хватают невинных людей.

Возле телеграфа они пересекли улицу Горького и вдоль по узкой темной, подобной коридору, улице направились к старым университетским корпусам.

В этот час в переулке почти не было прохожих и машины не попались навстречу, поэтому внезапный шорох шин за спиной вновь вызвал у Вадима отвратительный холодок между лопаток. Знакомство с иностранными корреспондентами целиком оставалось в сфере предположений, но Вадим почти готов был поверить в то, что уже замешан в эту предосудительную связь и что расплата за нее вот-вот последует. Одно мгновение он был вполне уверен, что, поровнявшись с ними, очередная машина тотчас остановится, к счастью, она проехала мимо, безмятежно подмигивая малиновыми подфарниками.

Потом они сидели на скамейке возле входа на исторический фа-

культет, и Вадим старался отговорить Инну от ложной идеи апелляции к иностранцам. Хватит, эти иностранцы и довели Севку до ручки.

Конечно, конечно, практика в языке, не сравнимая ни с какими курсами, но ведь и тут хорошо бы знать меру. Какого черта лезть в каждую толпу, которая на Советской площади окружает какого-нибудь англичанина или шведа, пытается с ним объясниться, расспрашивает о ценах на ширпотреб и о квартплате, сама приукрашивая из стихийного патриотизма родимую действительность, отвечает на его вопросы, когда простодушные, когда дурацкие, когда просто провокационные или же похожие на таковые, спорит с ним, кипитится, пытается его перековать, внушить ему азы марксистско-ленинского мировоззрения. Впрочем, Севка-то как раз наоборот, он скорее в соотечественниках эти самые основы ехидно подрывал, как бы невзначай подбрасывая в самый разгар полемики невинные с первого взгляда аргументы в пользу западных свобод и прав личности. Вадим сам был этому свидетелем. Прибился однажды из любопытства к вечернему толковищу возле "Националя" и в самом центре круга обнаружил Севку, который, поддерживая своего иностранного знакомца, ловко и остроумно, а главное с безошибочным знанием родимой обыденности срезал не желавших спасовать перед гостем отечественных ортодоксов. И при этом еще смеялся так задорно и обидно, с таким чувством превосходства, и своего личного, и заграничного, что ортодоксы, запутавшись в собственных доводах, с досады впадали в еще пушью ортодоксальность и начинали нести оскорбленную, заносчивую чепуху.

Вадима, не видимого торжествующим товарищем, она угнетала и раздражала, однако Севкин неизвестно на чем основанный гонор раздражал еще больше. Вадим и сам в такие минуты помимо воли становился правоверным, дубоватым и не проницаемым ни для какой нормальной логики, наподобие некоторых своих однокурсников, поступивших в университет после окончания офицерских училищ. Севкин смех звучал все снисходительнее и обиднее, сбитые с толку оппоненты уже не могли разобрать, кто же это перед ними: то ли иностранец, вместе с языком так хорошо усекший наши обычаи и нравы, то ли, не дай Бог, свой брат, то ли сдуру, то ли со зла решивший при иностранце протестовать против прописки и паспортной системы. Хотя смутно догадывались, должно быть, что иностранец в таком споре шадил бы их хозйское самолюбие и особо язвительных подначек себе не позволял. Севка же жалости не знал и, упоенный внезапным триумфом, по-прежнему не замечал в толпе своего старого товарища и, кто знает, быть может, и каких-либо других, менее терпимых к его злоязычию людей.

– Да, да, ты прав, – горестно соглашалась с Вадимом Инна. – Севка, когда в ударе, – как глухарь, не замечает ничего вокруг. Его вполне могли засечь, записать и даже заснять на пленку.

Тихо было в университетском сквере, только ветер иногда баламутил не опавшую еще листву, никогда еще Вадим не оказывался с Инной в такой волнующе близкой ситуации, но это как-то внезапно и одновременно запоздало до него дошло – полутьма, скамейка, соприкасающиеся колени, он понял вдруг, что может обнять Инну и что она его не от-

Рисунки Марины ПИНКИСЕВИЧ



толкнет. Ему мучительно захотелось ее поцеловать в шею под крутым завитком, потому что именно там была для него сосредоточена вся Иннина нежность, а также и его собственная, какую он к ней мучительно испытывал.

Он даже вообразить не мог, какую ни с чем не сравнимую радость доставило бы ему невинное исполнение этого давнего желания, это был бы тот самый случай, когда физическое наслаждение совершенно естественно претворилось бы в самое что ни на есть духовное. И вдруг, в момент нестерпимого счастья, сознание греха встало ему поперек горла.

Вадим ощутил себя предателем, нажившимся на несчастье друга, мародером, лазающим по комодам и шкафам в доме, где случилась беда. Конечно, ему было известно, как мало ценит Севка Иннину преданность и верность, как тяготится ими порой, не скрывая этого от мимолетных своих подруг, но все равно одна лишь мысль о том, где теперь находится Севка, заставила его опомниться.

Словно извиняясь перед Инной за несдержанность чувств, Вадим просил ее не совершать опрометчивых поступков, не подымать ненужной волны да, в конце концов, просто набраться терпения, все претензии, которые имеет к Севке всей стране известный дом на известной площади, в скором времени выяснятся. Не могут не выясниться, не те теперь времена. Последнему своему утверждению Вадим одновременно и верил и не верил, с одной стороны, и впрямь не те, если люди, не таясь, качают со штатниками права у самых ворот Кремля, а с другой — на память приходили фельетоны, пусть не вполне повторяющие убийственные статьи их детства, однако тоже обличающие отщепенцев, которыми заинтересовались компетентные органы. Вот и в университете, на том самом историческом факультете, спиной к которому они сейчас расположились, года полтора назад случились какие-то непонятные посадки, о которых ничего не было в точности известно, кроме пугающих противоречивых слухов.

Нет, Московский университет вовсе не был таким заповедным, отгороженным от житейских бурь местом, каким выглядел его старый уютный двор.

— Ты все-таки думаешь, что его засекали во время этих дурацких споров на улице? — еще раз спросила Инна. — Ты думаешь, всю эту чепуху, которую он там нес, можно объявить антисоветской пропагандой?

Вадим неопределенно пожал плечами, по опыту, странному, не им самим пережитому, однако усвоенному как историческое наследие всей страны, он догадывался, да чего там, убежден был, что пришить антисоветчину можно кому угодно и за что угодно. Почему-то ему представилось, что дело не такое уж липовое, что у тех, кто засек Севку во время нелепой уличной говорильни, имелись и более занозистые основания расставить ему свои силки.

Вот так неожиданно поймал он себя на том, что проникается мало-помалу охранительной логикой, и устыдился этого, поскольку смутно догадался, что с этого вот неосознанного ощущения вины и начинается

психология жертвы. Если допустить, что Севку взяли за дело, то кто его убедит в том, что некое похожее дело не может числиться и за ним самим? Разве так уж осмотрителен бывал он на семинарах по диамату или эстетике, не ввязывался разве в бессмысленные, заранее обреченные на тупик споры о необходимости широты взглядов, борьбы мнений и неограниченности художественного поиска? А на международной выставке в Манеже разве не дразнил он туповатых почитателей реализма — ноги две, пальцев пять, голова одна, следовательно, творение высокохудожественное. И те почему-то ярились до ненависти, когда он эту унылую художественность начинал оспаривать. Господи, да в собственной своей квартире сколько раз схватывался он с соседями, особенно с оставшим прокурором Сергеем Федоровичем, уволенным на пенсию буквально на второй день после завершения двадцатого съезда. Выходило так, что не о Севкином спасении надлежало ему заботиться, а о своем собственном, — больше всего он не хотел, чтобы Инна догадалась о том, что про себя он придирчиво рассматривает свою жизнь на предмет вероятного криминала.

Она, надо думать, не догадывалась, потому что изо всех сил старалась дать ему понять, что внезапный ток, пробежавший между ними, был совершенно случаен, а скорее всего, его вообще не было.

Прощаясь, Инна произнесла низким глубоким голосом, каким, должно быть, делаются признания:

— Если Севку не выпустят, я не знаю, что сделаю. Я такой скандал подыму, все "голоса" только об этом и будут говорить. Ты меня еще не знаешь.

От этих слов у Вадима мурашки побежали по спине. Было горько от догадки, да чего там, от трезвой уверенности, что о нем самом, случись с ним похожая беда, никто не вымолвит таких вот беззаветных, отчаянных слов.

Домой в Дмитровский он побрел, растравляя в душе эту глупую обиду, отраду в ней находя и чуть ли не завидуя своему другу, который, судя по всему, томился в эти минуты совсем неподалеку, в подвалах знаменитой внутренней тюрьмы. Мысль о том, что все совсем рядом — свобода и несвобода, осенние пленительные бульвары и каменное узилище, сентябрьские лирические прогулки и обязанность лежать на спине, вытянув руки поверх солдатского серого одеяла, беспомощное соображение о том, что граница между обоими этими мирами призрачна и несущественна, вновь потрясли Вадима. И как бы прояснили мозг, потому что с рельефной объективностью он вдруг понял, что послужило причиной Севкиного ареста. Как всегда в подобных случаях, он даже подивился прежней своей недогадливости, настолько очевидным представлялся ему теперь этот якобы криминальный казус.

Начало минувшего августа вспомнилось ему, жара, перемежаемая грозами, праздничная суета в Москве, которая только и говорила, что о двух одновременно открывшихся выставках — об американской в Сокольниках и о чехословацкой в Манеже.

Разумеется, американская промышленная экспозиция была главной

сенсацией с ее длинными лакированными автомобилями, с белыми пластиковыми кухнями, с пепси-колой, попробовать которую тянулся многокилометровый хвост, с джазом, с трубами и саксофонами надувших щеки и выкативших белки глаз негров, а также с гидами, изыскавшимися по-русски, — коротко остриженными, зачастую прышеватыми молодыми людьми в териленовых немнущихся брючатах и в голубых рубашечках, в распахнутых воротах которых виднелись белые футболки. Эти самые ребята одновременно интриговали и настораживали народ — своею общительностью, русским, хохлацким и еврейским происхождением, Бог их знает в самом деле, каким образом они или их преподабные родители оказались за океаном, а более всего своей манерой не только рассказывать, сколько задавать вопросы обо всем на свете: о зарплате, о разводах, о том, в какой очередности убираются в квартирах места общего пользования...

Выставка чешского стекла, надо думать, неспроста была приурочена ко времени открытия американской национальной выставки, тут был тонкий расчет на неизбежную конкуренцию, на необходимость отвлечь часть публики от кухонных комбайнов и цветных телевизоров и очаровать ее мифическим мерцанием богемского хрусталя, прихотливой пластикой самых обыденных и самых невероятных сосудов, хрупкой, сияющей, сверкающей, изменчивой атмосферой стекольной сказки.

Что ж, надо признать, что этот политический расчет оправдался: Манеж с утра до вечера был захлестнут двойной, тройной петлей нескончаемой очереди. Духовным, воспитанным на преклонении перед искусством москвичам это царство хрустальных граней и звонов льстило подчас больше, нежели прагматическая американская ставка на комфорт и потребительское изобилие.

Эта мысль пришла Вадиму в голову, когда из волшебного полумрака Манежа он вышел на жаркую, суетливую, потную улицу, радуясь высоте собственных запросов, он отметил, что американскую выставку покидал в смятении растравленной зависти, перемешанной с нехорошим чувством обиды, а с этой уносил торжественно-восхищенную скуку, в которой стыдно было признаться самому себе, как после посещения академического музея либо консерватории.

Путь его лежал к Толику Барканову, который под сокращение вооруженных сил не попал, но зато за успехи в боевой и политической подготовке был награжден краткосрочным семидневным отпуском. По случаю завершения отпуска в этот жаркий августовский день в полуподвальной баркановской комнате, где окно выходило в кирпичную выщербленную стену, собирались друзья.

Общество сошлось почти то же самое, что и три года назад в канун проводов, — одноклассники, соседи по двору, приятели по яхт-клубу в Пестове, девушек было поменьше, чем прежде, надо думать, повыскакивали замуж и позабыли своего разбитного, лихого приятеля. Ничего, и без обилия подруг было весело. Толик, в парадной белой робе, уже не наголо остриженный, а вполне по моде, царил за столом, уставленным молодой картошкой, посыпанной укропом, грубо нарезан-

ными огурцами и помидорами, политыми подсолнечным маслом, и водочными бутылками за двадцать один двадцать; пили за седую Балтику, за линкор "Ладога", бывший "Адмирал Дениц", полученный у побежденного врага в качестве репарации, за высокую мужскую дружбу — "Стакан вина я пью за старого товарища, а ты, дружище, выпей за меня!" — за боевых подруг, само собою, лукавым, настойчивым глазом Толик как бы приглашал то одну, то другую из гостей вспомнить о золотых временах незабвенной юности.

За скорейшее окончание службы тоже сводили граненую посуду, мало похожую на ту, что была выставлена в Манеже, за мир во всем мире и перспективы будущей жизни, которые под влиянием водки и жары представлялись одна другой ослепительнее и заманчивее.

В разгар веселья под окном вдруг появился Севка, прямо с улицы передал на стол две большие, по ноль семьдесят пять, бутылки с иностранными наклейками, гаркнул что-то очень морское и в то же время не всем сухопутным крысам известное.

Все вдруг страшно развеселились, хотя уж дальше вроде бы и некуда было, за руки втянули Севку в комнату, а вслед за ним и его смущенного долговязого приятеля в черепаховых толстых очках.

По этим-то очкам, по голубой в тонкую полоску рубашечке с пуговичками на воротнике, по териленовым немнущимся брюкам, а также по белобрисому бобрику, сквозь который просвечивала младенчески розовая кожа затылка, Вадим тотчас же признал "штатника", американца. Однако Севка, словно опровергая его невысказанную догадку, заявил во всеуслышание:

— А это наш чехословацкий друг, гид с выставки стекла в Манеже. Зовут Карел, прошу любить и соответственно жаловать!

Похожий на американца Карел с недоумением и, кажется, даже с испугом осматривал помещение, в которое попал столь необычным путем, через окно, — следуя его взгляду, Вадим вновь подивился тому, как похожа она на ночлежку хитровских времен — облупленным потолком, железными уютными койками вдоль не менее облупленных стен, железными мисками и грубыми тарелками на столе. Пирующие не позволили Карелу пребывать в прострации, потеснились, подвинулись, усадили его на кухонную скамейку между Толиковой старшей сестрой, фабричной работницей, несколько смущенной явлением иностранного гостя, и соседом дядей Петей, который с ходу начал обстоятельно вспоминать про то, как их часть входила в расположенный на голубом Дунае город Братиславу. Да хватит, слышали уж, перебивали его, дай человеку выпить и закусить, как следует по русскому обычаю, а уж потом рассказывай! Карел пригубил водки из граненого стакана, ничем не напоминающего выставку чехословацкого стекла, хотел поставить его на место, но публика весело запротестовала:

— До дна! До дна! У нас так не положено!

Будто неведомое, но неизбежное лекарство выпил гость, подражая Толику, полстакана теплой водки, не "московской" и не "столичной", обыкновеннейшего "сучка" по двадцать один двадцать, побагровел от

удушья, потом закашлялся, затрясся, слезы потекли из-под черепаховых очков. Снявши очки, чтобы вытереть слезы темно-синим носовым платком в красную элегантную клетку, иностранец вдруг сделался похож на российского разночинца, поповича, семинариста, вечного студента из тех, что годами толклись в университетском сквере.

– Ну, май год! – прижимая платок к близоруким красным, бесцельно мигающим глазам, приговаривал гость.

– Карел – это Чарльз? – потихоньку поинтересовался Вадим у Севки, наслаждавшегося эффектом несовместимости русской водки с иностранной натурой.

– Усек? – не переставая улыбаться, удивился Севка. – Молоток! – И, доверительно понизив голос, как бы призвал Вадима в сообщники: – Сам понимаешь, иначе бы шухер поднялся либо, того хуже, зажались бы все, как эти...

Уловив, что от иностранного друга красноречия не дождешься, Толик вновь принялся рассказывать о трудностях и о героизме морской службы, о стрельбах в штормовую погоду, об автономных плаваниях без всплытия, в какие на полгода уходят подводные лодки, а некоторые и не возвращаются, о своем дружке Вальке Котельникове, который даром что сын заместителя министра иностранных дел тянет матросскую ляжку наравне с простыми ребятами и к лычкам не стремится, не то что некоторые...

– Это точно, – поддержал отпускника Севка и заговорил о флотских службистах, готовых удавиться ради одобрения начальства, о вахтенных, которым раз плюнуть мать родную застрелить, о старшинах и мичманах, да так основательно и авторитетно, будто сам не один год прослужил на военно-морских базах в разных экипажах и на крейсерах, и на эсминцах, и на сторожевых кораблях.

Толик почувствовал себя уязвленным таким самоуверенным вторжением безбилетников в область его мариманской компетенции, послушать, так и неизвестно было, кого здесь уволили в отпуск на семь дней, кто сегодня же вечером с Рижского вокзала отправляется для дальнейшего прохождения службы на седую Балтику, в военный порт Либаву...

У Вадима сложилось впечатление, что при этих словах Карел, он же Чарльз, оторвался от закуски и стал прислушиваться к залихватским Толиковым рассказам, в которых зарубежному слависту, откровенно говоря, трудновато было разобраться, так крута была украшающая их образность.

Часов в шесть вышли на улицу проводить Толика до поезда. По проспекту Мира ехали в битком набитом троллейбусе, Вадим, притиснутый к американцу, приличия ради расспрашивал Чарльза о его профессиональной деятельности в Штатах. Тот отвечал, что изучает в Принстоне русскую литературу советского периода, но от конкретных вопросов о будущей своей диссертации и об интересующих его авторах уходил, словно боксер от ударов, прикрываясь какой-нибудь формальной малозначащей репликой.

К плацкартному вагону Толик Барканов подошел с форсом, будто к международному, с подмигиванием вручил билет хладнокровной латышской проводнице, под музыку из репродуктора сбацал на перроне чечетку, сбивая с клешей проворными ладонями невидимую пыль, потом стал целоваться с провожающими. Разницы между мужчинами и женщинами, между родственниками и друзьями не делал, всем прямо в губы влепяля сочный хмельной поцелуй. Вот и Карела-Чарльза как представителя братской страны – "Злата Прага, красавица Прага!" – мощно облобызал врасос. Смысла этого язычески-интимного обряда американец никак не мог уразуметь, брезгливо и деликатно вытирал клетчатым носовым платком обслоняявленные губы и, судя по всему, готов был сделать умозаключение о развитии в советском флоте нездоровых наклонностей...

...Прежде чем заснуть, Вадим ворочался на своей девичьей кушетке и старался вспомнить всех, кто был в тот жаркий день у Толика Барканова и кто ездил его провожать. Простодушные родственники были не в счет, они ничего не поняли, но все поверили, гид с американской выставки был для них чехом Карелом, который впервые в жизни сидел за русским столом и пил русскую водку. Но ведь были среди гостей, вполне вероятно, люди и подogaдливей, не один он такой умный, быть может, и им сделался внятен совсем нечешский акцент в речах мнимого Карела.

Ну и что из того, пытался успокоить себя Вадим, сам он ни разу не разоблачил Севкину хитрость, но ведь не бросился же доносить о пьянке в доме военного моряка, на которой присутствовал подданный Соединенных Штатов, зачем же других подозревать в добровольном стукачестве. И вновь, в который уж раз, закрыв глаза, пытался представить всех сидевших за баркановским столом...

Пришел на память разговор с собственной соседкой Ниной Алексеевной, случившийся три года назад во время незабвенного фестиваля молодежи. Счастливый, взбудораженный, переполненный внезапным знанием иностранных слов, обычаев, манер и песен, Вадим сидел в их прокопченной коммунальной кухне и рассказывал недоверчивым соседкам о своих друзьях-французах, с которыми почти не расставался в те блаженные, сумасшедшие дни.

Соседки, для которых официально провозглашенная дружба народов не имела никакого житейского подтверждения, скептически, хотя и доброжелательно ухмылялись, помешивая в кастрюлях семейное свое варево, буднично стуча ножами, гремя мисками и тарелками. А Нина Алексеевна отозвала Вадима в затхлый чуланчик здешней ванной и заговорила с неожиданной для нее искренностью и страстью:

– Вадик, не шейся ты к этим иностранцам, умоляю тебя, добром это не кончится! Не может быть, чтобы о них смотрели на это сквозь пальцы! Ты меня понял? Не может быть!

Вадим, разумеется, не мог не понять, поскольку прекрасно был осведомлен о том, что родную сестру Нины Алексеевны Тамару замели

после войны, по общему убеждению, только за то, что она с компанией появлялась иногда в "Метрополе" и "Национале" и танцевала там с иностранцами. Сыновей этой несчастной Тамары Вадим хорошо знал, они часто приходили к ним в квартиру, бледные, хилые мальчики с выражением чуть брезгливой благовоспитанности, какой никогда не бывает у дворовых ребят, и одновременно почти нищенской покорности, совершенно чуждой беззаботным домашним детям из хороших семей.

Вот так ворочался с боку на бок Вадим, никак не в силах отделаться от назойливых соображений, вот так – в другое время вполне хватило одного лишь общения с иностранцами в кафе. Времена, конечно, изменились, но ведь и домашняя обстановка не может идти в сравнение со случайным ресторанным знакомством. И тут, как назло, всплыла перед внутренним взором сцена в ресторане. То есть в кафе, в том самом "Национале", заглядывать куда особым щегольством считалось среди студентов старого Московского университета. Наверное, через неделю после проводов Толика Барканова, перед самым началом учебного года Вадим трепался с однокурсниками в университетском сквере. Обсуждали будущее расписание, новые лекции, некоторые вновь открывшиеся возможности в той профессиональной сфере, к каковой, считалось, они себя готовили. И вдруг из-за чугунной ограды возник Севка в сопровождении все того же Карела-Чарльза. Оказывается, они искали Инну. Вадим сказал, что видел ее недавно, кажется она пошла в круглую читальню. Севка с американцем присели ее подождать, Чарльз принялся рассказывать о нравах родных его университетских кампусов, судя по всему, были они повеселее и подемократичнее московских.

– Вот это да! – вздыхали студенты. – Хочешь – ходи на лекции, хочешь – не ходи! – и тут же несколько лицемерно осудили такую практику, как не соответствующую воспитанию в будущих специалистах чувства ответственности перед обществом. В наших, по крайней мере, условиях.

– Сегодня он на лекцию не захочет пойти, – с пенсионерской настойчивостью произнес кто-то из ребят, – а завтра по распределению не поедет.

– Да уж, не приведи Бог, – согласился Севка, – а то ведь распределение у них страшное, Айовщина, Мичиганщина... не говоря уж о Техасщине.

Из библиотеки спустилась Инна, Севка заорал, что они ждут ее уже целый час. Инна оправдывалась тем, что встречи им не назначала, ни сном ни духом не ведала, что ее будут искать.

– Как это не ведала?! – притворно возмущался Севка. – Я столько рассказывал Чарльзу о твоей преданности, о том, что ты мне самый близкий человек...

Инна, счастливая, засмущалась, а Севка от широты души – ничего не жаль для милой и для друга ничего – позвал с собой и Вадима, хотя, очевидно, заранее вовсе не имел такого намерения.

Обед в "Национале" ничем особым не запомнился, разве что тем, что американец отказался и от коньяка, и от вина, надо думать, месячная норма алкоголя была им употреблена за столом у Толика Барканова,

и теперь он вполне обходился минеральной водой. И при этом, как и положено наблюдателю нравов, интересовался местной публикой, чему Севка на правах завсегдага весьма радовался, поскольку имел случай проявить таким образом свою немалую злоязычную эрудицию.

Вадим, помнилось, восхищался Севкиным сарказмом и вместе с тем про себя как бы осуждал Севку: стоило ли так распинаться перед представителем иностранной державы, пусть даже и славистом, так уж откровенно раскрывать ему интимные, домашние тайны наших общественных нравов. Зато Инна удивила и порадовала Вадима совершенным своим спокойствием, отсутствием почти неизбежного в таких случаях трепыхания и заискивания – будто бы обедать в кафе с американцами для нее самое что ни на есть привычное дело, совершенно не девичьей, а почти дамской корректностью, то есть безукоризненными манерами, чуть заметным лукавством без нажима, прекрасной уверенностью в себе.

Вадим попытался вспомнить людей, сидевших в "Национале" от них поблизости за окружающими столиками, но перед взором откуда ни возьмись всплыли простодушные семейные лица баркановских родственников и соседей, потому в проеме полуподвального окна почему-то возник в твидовом пиджаке и с трубкой в зубах кто-то из завсегдагаев кафе, одинаково близких и к богеме, и к артельщикам, и к новомодной фарце...

...Наутро во время лекций Вадим плохо улавливал ораторскую логику профессоров и доцентов и на семинарских занятиях вопреки обыкновению отвечал невпопад – мысли о Севкиной судьбе неотступно его преследовали, звучали в мозгу, будто кто-то рядом прокручивал на магнитофоне одну и ту же запись. Самое страшное, он будто бы чувствовал, что метаться по городу, висеть на телефоне, стараться что-либо разузнать и разнюхать не имеет смысла, данная история так или иначе достанет его сама и накроет своей тенью.

Ждать пришлось не долго. Перед последним семинаром его вызвали в учебную часть. Секретарь факультета давно уже воспринимала его как фигуру положительную и солидную, может быть, даже из тех, кому предстоит прославить в будущем родное учебное заведение, потому сообщила, словно обрадовала или особое доверие оказала:

– Вас Зоя Константиновна просила зайти.

То, что именно Зоя, одновременно обнадежило и обеспокоило. Из всего факультетского начальства замдекана Перфильева пользовалась среди студентов наибольшим уважением, если не любовью, умница, не ханжа, баба хоть и властная, однако вполне европейского сознания в смысле уважения студенческой личности и кое-каких неотъемлемых ее прав. Во всяком случае, вызов к ней в кабинет не грозил унижением; ни распекания, ни угрозы не были в ее духе. Другое дело, что по пустякам она не вызывала никогда, поскольку фигурой была значительной и во время войны служила, по слухам, в системе, связи с которой не теряют до конца жизни. Вадим подумал, что перед визитом к Зое неплохо бы посоветоваться с Инной, и тут же вспомнил, что весь день как назло

Инны не встречал. Тревога усилилась до физического недомогания, до маеты, до озноба, Бог его знает, что могла разузнать Инна за сегодняшнее утро и что натворить. Севке, знай он обо всех ее трепыханиях, было бы наверняка легче в эти жуткие для него минуты, рассудил Вадим с безотчетной завистью. И острее обидное сожаление на мгновение охватило его душу оттого, что пожаловаться на предстоящий неприятный разговор у заместителя декана ему совершенно некому.

Но то-то и оно, что разговор этот складывался очень даже приятно и почти что лестно. Настороженный Вадим все время ожидал от Зои Константиновны подвоха и в конце концов устыдился этого своего низкого ожидания. Ибо в чем-в чем нельзя было отказать Зое, так именно в прямоте. Прямотою она и брала, и сердца привлекала, прямотою и еще особым обаянием, каким редко отличаются начальствующие дамы, обычно очень чопорные, ханжество и представительную добротность почитающие хорошим тоном. Зоя этой номенклатурной эстетикой пренебрегала, в английских своих костюмах напоминала скорее иностранных журналисток, нежели инструкторов обкома, а папиросы с длинным мундштуком курила с забытым уже довоенным дамским шиком.

Велев Вадиму сесть, с властным добродушием Зоя Константиновна закурила казбечину и посмотрела на робеющего студента взглядом не столько педагогически пронизательным, сколько матерински заботливым. И с материнской же отрадой поведала ему, что в только что открывшемся институте, куда он являлся три раза в неделю в качестве внештатного стажера, к нему относятся в высшей степени положительно. У Вадима даже в животе потеплело от этих слов. Уж очень ему нравилось в этом еще небывалом в нашей стране учреждении, где даже мебель – легкая, светлая, какая-то вся абстрактная и условная – так отличалась от громоздкой промышленной казенщины всех прочих советских присутствий. А уж об атмосфере, о нравах и говорить не приходилось: вольнодумие, непочтительность к авторитетам, особая ученая, так сказать, лицейская богемность как бы проистекала из самой задачи данного института – беспристрастно и объективно изучать наше общество в сотнях его высоких и низких, идейных и самых что ни на есть бытовых, кухонных состояний и проявлений. Беспристрастно и объективно – то и дело повторялось в стенах этого неслыханного заведения. Господи, неужели и вправду он приглянулся тамошним сотрудникам, всем как на подбор европейски образованным людям, остроумцам, спортсменам, знатокам многих языков?! Вообще-то тайная догадка об этом не раз тешила одинокое Вадимово сердце, доверять ей окончательно он опасался, не дай Бог сглазить! И вот теперь он получил ее подтверждение из самых авторитетных уст и все же изо всех сил старался не обольститься этим сообщением. Он уже давно взял себе за правило не обольщаться.

Зоя Константиновна, раскусив его опасливую натуру, добродушно рассмеялась:

– Не веришь своему счастью? Боишься сглазить? Напрасно, напрасно.

Пора уже знать себе цену... Я тебя понимаю, конечно. Перспективы, возможности, академический уровень, неужели это все мне? А ты учишь себя уважать. Привыкай думать, что ты им нужен не меньше, чем они тебе. Понял? Между прочим, очень помогает в жизни. По опыту знаю.

От этих слов недоверчивый Вадим почувствовал душевное смятение, похожие мысли время от времени досаждали ему, вернее, ослепляли своей заносчивой дерзостью.

— Плохо живешь, от того в себя и не веришь, — Зоя продолжала поражать Вадима пониманием его вовсе не такой уж сложной, как оказалось, психологии. — Ничего, это дело поправимое. Раз-другой повезет по-настоящему, заслуженно, по существу, и вдруг почувствуешь себя совсем другим человеком.

От этих надежных, безусловных предсказаний Вадим краснел, будто от чрезмерных похвал в лицо. А Зоя Константиновна между тем суховато, по-командирски и потому особенно обнадеживающе подводила итог этому разговору, этому нежданному вызову студента-дипломника в заветный кабинет, где решаются судьбы.

— Короче, есть на тебя запрос. — Она погасила папиросу и мужской сильной ладонью похлопала два раза по красивой синтетической папке на столе, как бы подтверждая основательность своих слов и сама в них убеждаясь.

Осчастливленный Вадим, истомленный напрасной тревогой, не в силах больше переживать муку официального и в то же время почти родительского благословения с излишним, пожалуй, проворством вскочил со стула, принялся невпопад благодарить, еле сдерживаемым порывом всего своего существа, одетого в джинсы калининского производства за шесть пятьдесят пара, обутого в польские туристские ботинки на тракторном ходу, стремясь за дверь.

— Постой, постой, — будто вспомнив о чем-то постороннем, но важном, произнесла Зоя Константиновна, и Вадим тотчас ощутил, как оборвалось его сердце.

— Постой, — повторила Зоя, раскуривая новую папиросу и указывая ему глазами на стул, с которого он только что поднялся. — Не спеши. Думаешь, понравился академику Мхитаряну и дело в шляпе? Нет, дорогой, тут еще кое-кому понравиться надо... Не разочаровывать кое-кого, так скажем. Не маленький, мог бы и понимать.

Вадим почувствовал, что разом вспотел, и сделался самому себе противен, так случалось в отрочестве, когда прихватят тебя где-нибудь в чужом дворе — местная кодла, прежде чем лупить, начнет издеваться, а ты отчаянно трусишь и одновременно презираешь себя за трусость, за бессилие.

— Садись, садись, — приказала ему Зоя напрямую, — что у тебя за отношения с этим нашим бывшим студентом... как его... с Шадровым?

— Он мой школьный товарищ, — обтекаемо, как ему показалось, ответил Вадим.

— А ты знаешь, чем этот твой товарищ занимается? — жестко спросила Зоя. — С иностранцами якшается, с американцами, с гражданами ФРГ...

Вадим хотел было осторожно заметить, что не видит в этом ничего предосудительного, раз этих людей пускают в нашу страну, почему же нельзя с ними общаться, хотя бы ради языковой практики, Шадров ведь не спекулянт, не фарцовщик...

— А ты знаешь, что все иностранцы шпионы? — сразила его своею определенностью Зоя. И, словно понимая, что его шокирует такая грубая, давних времен и нравов однозначность, от души потешилась над его идеализмом.

— Ты что думаешь, если мы с каждой трибуны про мирное сосуществование вещаем, то к нам миротворцы и едут, голуби с веткой в клюве? Противники, заруби себе на носу, идеологические диверсанты, политические разведчики. Ты думаешь, его "советского завода план" непременно интересует, как вы в своих дурацких песнях поете, а он вас, дураков, изучает, вашу трепотню анализирует, досье на вас заводит, анкеты составляет...

Никогда еще Зоина причастность к некоему ведомству, о которой по факультету ходили слухи, не обнаруживалась с такою непреклонной простотой, раньше в глазах Вадима она добавляла заместителю декана лишь особой туманной значительности, какою окружен всякий человек с репутацией прикосновенного и посвященного.

— На него запрос пришел из института исследований, — куражилась Зоя, — а он что себе позволяет? По кабакам шляется с иностранцами! Хорош дипломник, выпускник университета!

В этот момент Вадиму сделалось по-настоящему страшно, безжалостная тоска сжала сердце, неприятной холодной испариной выступила на лбу. Сразила мысль о том, что про него все, оказывается, известно. Полтора часа просидели в обеденное время незагульное в этом проклятом "Национале", и вот, пожалуйста, этот ничего не значащий, ровным счетом ничего не означающий факт уже запротоколирован и занесен в некие тайные, неподвластные времени анналы. Сейчас Зоя упомянет и выпивку у Толика Барканова, ужаснулся Вадим, тогда вообще конец, мрак, волчий билет. Привести подозрительного американца в дом военнослужащего, балтийского моряка, находящегося в краткосрочном отпуске, — да если бы самому Вадиму доложили о таком поступке, он не оставил бы его без внимания.

Именно так сознавал он с ужасом, не оставил бы. И не мог произнести ни слова в свое оправдание.

Должно быть, это его подавленное молчание, не прерванное ни малейшей попыткой защититься, оспорить предъявленные факты, выставить себя случайной жертвой неосмотрительности, то есть, по сути дела, пострадавшей стороной, каким-то образом подействовало на Зою Константиновну.

Она смягчилась так же внезапно, как и расовирепела, вновь сделалась обаятельной деловой женщиной, у которой сквозь привычную государственную озабоченность проглянула все понимающая родительская печаль.

— В общем, так я тебе скажу, — произнесла Зоя совсем по-домашнему, заботливо и участливо, будто не только его беду разводя руками, но и

свое сердце скрепив усилием воли, – если где спросят, ты от товарища своего отмейся.

– Ничего, ничего, – пресекала она еще не прозвучавшие из Вадимовых уст возражения, – не терзайся, твой приятель не больно-то терзался, когда втянул тебя в эту историю. Хорош гусь, сам на каждом углу невесть что языком треплет да еще друзей подводит под монастырь.

Так все-таки знает она про визит к Барканову чехословацкого гида Карела или не знает, томился неведением Вадим; если знает, значит, знают и там, потому неприятностей не оберешься, и Толику на своей седой Балтике тоже. А может, и вправду лучше придерживаться версии об экскурсоводе с выставки стекла, соблазнила его догадка, тотчас же поразительным образом уловленная Зоей Константиновной

– Только упаси тебя Бог врать, – поморщилась она, – юлить и вообще выкручиваться. Отвечай конкретно и точно, рассказывай все, как было. Это, поверь мне, всегда вызывает симпатию и желание помочь человеку. В данном случае тебе. Не забывай, какой институт хочет видеть тебя среди своих сотрудников.

– Я не забываю, – через силу произнес Вадим, поняв, что наконец можно уйти.

– Лишнего тоже не болтай, – вновь остановила его возле самой двери Зоя Константиновна. – Не активничай, соображений и домыслов не высказывай. Коротко и ясно, что видел, что слышал, и ничего больше.

Надо было срочно повидаться с Инной, предупредить ее о возможном вызове куда следует, рассказать ей о Зоинном предупреждении, посоветоваться, обсудить схему дальнейшего совместного поведения. Именно совместного, ведь если ему предъявят претензии за посещение "Националя" в компании американца, то Инну ожидают те же упреки и улики. А то и почище, если она, не дай Бог, еще кому-либо брякнула про свои безумные планы насчет контактов с иностранными корреспондентами.

На факультете Инны не было. Ни в аудиториях, ни в читальном зале, ни в заветных уголках, где старшекурсницы вместе с младшекурсницами из числа тех, что побойчее и посмазливее, сладко курили вонючую "Шипку" и обсуждали, надо думать, кавалеров, ухажеров, любовников и просто "интересных мужиков" из числа преподавателей.

Безуспешные поиски, лихорадка и досада сочетались у Вадима с неоступным зудением тревожной мысли: где и когда придется давать объяснения по поводу фальшивого гида с чешской выставки, вызовут ли его куда следует особой повесткой или же приедут, как за Севкой, на черной "Волге"...

Расстроенный Вадим побрел домой, на каждом углу забираясь в пропахшую куревом и мочой телефонную будку, чтобы набрать Иннин номер. Трубку никто не снимал...

Вечером к телефону подошла Иннина мама. Своим сладким, богатым интонациями голосом ответила, что Инночки нет дома и что вернется она, скорее всего, очень поздно.

Поздно позвонить Вадим, естественно, постеснялся, хотя заснуть долго не мог, почти всерьез поверив в то, что с минуты на минуту

загремит дверной звонок и в квартиру войдут высокие мужчины в китайских светлых плащах, пригласят одеться и следовать за ними...

Они и вошли, сначала именно такие, высокие, в песочных макинтошах, лицами похожие на гида с американской выставки Чарльза, он же Карел, потом другие, в военной форме какого-то устаревшего, словно бы вохровского покроя, потом еще какие-то в широкополых шляпах, закрывавших туманные, неясные лица...

Утром, когда измотанный кошмарами и беспрестанным просыпанием Вадим пил чай, в коридоре затрещивал телефон. Оказалось, что спрашивали его.

– Вадим Сергеевич? – осведомился в трубке незнакомый и какой-то не вполне серьезный, вроде бы подначивающий голос. Вадим и решил, что его разыгрывают какие-нибудь полузабытые знакомые – ничего остроумнее не придумали, как обратиться к нему по имени-отчеству.

– Повидаться бы нам надо, потолковать, а, Вадим Сергеевич, – настоятельно и по-прежнему весело, сокрее даже оптимистично предложила трубка, и Вадим с запоздалым сомнением осознал, что разыгршем тут и не пахнет.

– Я не против, – пробормотал Вадим, стыдясь своего незнакомого, блеющего голоса.

– Вот и замечательно! – восхитился неизвестный собеседник. – Просто чудесно, что не против! Тогда и откладывать не будем, а? Как вы считаете? В одиннадцать вас устроит? Прямо в ваших, как говорится, пределах, на родимой вашей территории...

– То есть на факультете? – спросил Вадим, стараясь, чтобы голос его звучал спокойно и мужественно, по крайней мере, не выдавая постыдного его мандража.

– Так точно, – со служебной определенностью подтвердил незнакомец. – Жду вас в деканате. Ровно в одиннадцать.

И в тоне его на прощание промелькнула безапелляционность приказа или распоряжения.

– О себе заботься! – пришли на память настойчивые советы Зои Константиновны, сейчас они одновременно и раздражали, и казались разумными.

Вадиму представилось, что логичнее всего придерживаться той версии, которую предусмотрительно избрал Севка в гостях у Толика Барканова, заявить, что никакого американца Чарльза он знать не знает, а знаком лишь с экскурсоводом чехословацкой выставки стекла Карелом. Именно так отрекомендовал его Шадров, в таком качестве и воспринимал его во время обеда в "Национале".

Эта мысль считать американца чехом показалась Вадиму весьма надежной и прочной, приближаясь к университетской ограде, он уже почти искренне верил в то, что иностранцы для него, что китайцы, все на одно лицо.

Мелькнула надежда, а вдруг об этих проводах ничего и не известно. дай Бог, чтобы так, потому что иначе Толику в его Либаве грозят крупные разочарования.

Так и не выработав единой линии обороны, мечась истомленной

душой от подлости к благородству, Вадим переступил порог Зоиного кабинета.

Сама Зоя Константиновна в лучшем своем стиле корректной деловой женщины, элегантно, уверенной в себе, разговаривала с видным молодым очкариком вполне ученого облика, разве что плечи у него под дробным серым пиджаком угадывались чересчур круглые.

— Вот и наш отличник, — вроде бы с едва ошутимой насмешкой, но, может быть, и с лучшими чувствами представила Зоя Константиновна Вадима и, улыбнувшись очкарику с теплотой коллеги, сказала, что не хочет мешать их конфиденциальному разговору.

На это замечание, как только дверь за Зоей закрылась, очкарик тоже улыбнулся, однако, с такой студенческой свойскостью, что у Вадима тотчас благодарно потеплело в груди. Он поспешил заглушить в себе эту неосторожную поспешную благость, тем более что перед глазами у него внезапно возникло солидное, тяжелое удостоверение в красной корочке, извлеченное мужчиной из внутреннего кармана пиджака. Вчитаться в замысловатую вязь тушью выведенных букв Вадим постеснялся, и очкарик, уловив его состояние, протянул ему дружески свою широкую твердую ладонь:

— Вячеслав Иванович!

Этот сердечный жест в сочетании с надежной крепостью рукопожатия вновь не попад смягчил Вадимову настороженность, и он от души выругал себя за эту рабскую собачью готовность покушаться на малейшую тень отзывчивости и ласки. Вероятно, в нарочитом своем ожесточении он переборщил, потому что, посмотрев ему прямо в глаза Вячеслав Иванович произнес негромко и доверительно, что понимает состояние Вадима.

— Знаю, какие после всего того, что было, у людей к нам отношения. Сам бы не поверил, если бы кто-нибудь отнесся к такому приглашению как к чему-то заурядному... В домоуправление и то с опаской идем, будто грех за собой чуем... Сколько лет должно пройти... Но вы должны сознавать, — в голосе Вячеслава Ивановича зазвучала покоряющая мужская прямота, — что с прошлым в нашем ведомстве покончено раз и навсегда. Тех людей, вы меня понимаете, в наших рядах не осталось. В кадры пришел совсем иной контингент. Совсем иной, — повторил он после краткой паузы, как бы давая понять, что именно к этому контингенту и принадлежит, более того, отчасти его олицетворяет, эту новую когорту чекистов, не случайно вспомнивших о самом первом, революционном, романтическом именовании их службы, вот таких вот плечистых, спортивных, все на свете прочитавших современных парней.

Вадим не знал, что ответить на это прямодушное вступление, по привычке он едва ли не виноватым себя чувствовал по той причине, что такой приятный, интеллигентный человек должен перед ним вроде бы оправдываться.

И обнадеживал себя мыслью, что Севкины дела, дай Бог, не так уж и плохи, если находятся в руках вот таких вот симпатичных, открытых мужиков из нового контингента. Потому что в глазах контингента прежнего, к которому относился Вадимов сосед по квартире отставной

прокурор Сергей Федорович, все их поколение выглядело преступным, антисоветским, отступническим уже по поводу узких брюк и поднятых воротников, по причине песенок и гитар, не говоря уж об интересе к джазу и Хемингуэю. Но ведь этому Вячеславу Ивановичу, который носит клевый вполне "штатский" костюм, не надо объяснять, что любовь к Хэму вовсе не противоречит любви к Родине и даже неким, не вполне внятным, но очевидным для Вадима образом именно ее воспитывает и укреплает.

– Вы знакомы с Всеволодом Шадровым? – спросил Вячеслав Иванович и, не дожидаясь утвердительного кивка, задал следующий вопрос: – Что вы можете о нем сказать?

– Он мой товарищ, – после короткой паузы ответил Вадим и, опасаясь показаться чересчур осторожным, поправился: – Мой друг.

Потом стал рассказывать, что дружит с Севкой с самого детства, знает его как человека умного, глубокого, быть может, подверженного различным влияниям, излишне увлекающегося, но в сердцевине своей глубоко порядочного.

Вадим почему-то чувствовал, что, отвечая, нельзя опережать и предвосхищать следующие вопросы, и оттого постарался не произнести раньше времени ни слова о совершенной Севкиной политической благонадежности.

Отметив то сосредоточенное внимание, с каким выслушивал его Вячеслав Иванович, Вадим ощутил, что речь его льется свободнее и легче, неподдельные чувства все точнее и точнее находили выражение в словах. Впервые в жизни он не просто отзывался о друге, но как бы давал ему ничуть не формальную, чрезвычайно важную, быть может, все на свете определяющую характеристику, и чувство ответственности совершенно естественно, без малейшей натуги побуждало его к благожелательности. Ему самому вдруг сделались очевидными многие прекрасные черты Севкиного характера, в суете жизни заслоненные мелкими обидами, дружескими подначками, рутиной быта, Севкина несомненная доброта, например, широта его натуры, интерес и любопытство к людям.

Вячеслав Иванович время от времени солидно кивал красивыми очками в такт его словам, и это еще больше вдохновляло Вадима. Встретив понимание, он перестал осторожничать и уже не столь тщательно подбирал слова, рассчитывая больше на убедительность тона, допустимого между понимающими друг друга людьми. Да чего там, почти своими, в том смысле, что похоже мыслящими, одни и те же книги прочитавшими, одной и той же музыкой отводящие душу.

Так вот, подобно музыканту, который, исчерпав себя в сладких муках импровизации, возвращается к изначальной теме, Вадим, припомнив разнообразные Севкины достоинства, пришел к выводу, что самый его первый довод в защиту товарища обладал наибольшим весом.

– Шадров – порядочный человек, – повторил он уверенно, чувствуя, что установил с сотрудником всемогущего ведомства душевную, не требующую пояснений связь.

– Порядочный? – блеснув толстыми стеклами очков, переспросил

Вячеслав Иванович. — А где же была его порядочность, когда он с агентами ЦРУ по Москве шатался? Почему не помешала ему Родину продавать, перед толпой, как на ярмарке, и оптом, и в розницу? Странные у вас представления о порядочности, — поражался Вячеслав Иванович уже без всякого дружеского участия, железным непроницаемым голосом общественного обвинителя, идейного борца, командира, пресекающего трусливую панику.

— Разве может порядочный человек клеветать на свой народ, на строй, который он установил в революционной борьбе, на трудности, какие он переживает? Да свинья этого не сделает, потому что даже у свиньи, наверное, есть благодарность к родной крыше, к тому месту, где ее кормят, а у вашего товарища эти свойства отсутствуют. Начисто! И главное — порядочный! — праведно негодовал Вячеслав Иванович. — Матери родной в лицо плюнуть на потеху врагу, это называется порядочности?

Презирая себя за то, что второй раз споткнулся на том же самом месте, купился на приветливость очкарика с тою доверчивостью, с какой поверил в Зоину заботу, ненавидя себя за боязливую податливость, Вадим пробормотал, возможно, даже пролепетал нечто бессвязное о том, что не совсем понимает, о каком предательстве идет речь.

— О самом обыкновенном, — холодно ответил Вячеслав Иванович, — о заурядном. Ваш товарищ, — голосом он как бы подчеркнул или же в кавычки заключил это слово, — вместе со своими американскими хозяевами выходил на улицы Москвы и помогал им вести антисоветскую агитацию.

У Вадима потемнело в глазах и под ложечкой образовалась тошнотворная зияющая пустота. Ему вспомнилась вечерняя толпа возле "Националя", вечные московские зеваки, инженеры, бухгалтеры, лысоватые научные сотрудники, собравшиеся вокруг разговорчивого американца, еще красноречивее которого оказался задорный молодой человек непонятного звания, вроде бы наш, судя по выговору, но если судить по языкатуму веселому ехидству, то тоже заокеанский житель.

— Я никогда не видел, чтобы Шадров занимался агитацией, — буквально выдавил из себя Вадим.

— А вы заходите к нам, — вновь веселым свойским тоном пригласил Вячеслав Иванович, — я вам фильм покажу. Интересное кино! Про то, как ваш товарищ на Красной площади распинается об американских свободах, а цэрэушники в сторонке стоят и посмеиваются. Давай, давай, мол, хорошо работаешь! О' кей!

Перед глазами Вадима возникло продолговатое, отчасти лошадиное лицо Чарльза-Карела, сосредоточенно внимавшего безалаберным хмельным разговорам за столом, флотским байкам, дворовым подначкам, присловьям, прибауткам, которыми спокон веку тешит себя и отводит душу русский народ и в казарме, и в лагерном бараке, и в полуподвальной коммуналке, находящейся в десяти минутах ходьбы от Кремля.

— А может, смотреть кино и необходимости нет? — пронизательно

усмехнулся Вячеслав Иванович. – Может, все-таки эти сюжеты вы и в жизни наблюдали? Интересно бы послушать ваши впечатления.

– Я от вас чего жду, – Вячеслав Иванович вновь заговорил с мужественной, вызывающей доверие простотой, – чтобы вы знали, не доноса, не ябеды какой-нибудь... Нормальной лояльности, товарищеской помощи, в которой всякий настоящий комсомолец просто не вправе отказать органам, охраняющим нашу конституцию.

– Так я и не отказываюсь, – потупившись, негромко выговорил Вадим, вроде бы неожиданно для самого себя, но вместе с тем как бы не без охоты подчиняясь нормальной и вполне обоснованной логике собеседника.

– Ну, слава Богу, – улыбнулся тот с облегчением. – Гора с плеч... Я вам прямо скажу, попадаются товарищи, которые от этого нормального сотрудничества уклоняются. Как будто их на подлость толкают, на низость, на предательство. Чепуха, честное слово! Объективных сведений просят от них, всего-навсего, имейте в виду, объективных данных, без которых наша мысль может пойти по неверному пути. А это вновь может привести к нежелательным последствиям, – прямой взгляд из-за стекол очков как бы убеждал Вадима в том, что ответственность за людские судьбы он разделяет наравне с работниками компетентных органов.

– Я понимаю, – Вадим стыдился своего невнятно и робко звучащего голоса, как стыдился бы он своей слабости, доведись им вступить с атлетически сложенным Вячеславом Ивановичем в какое-либо физическое соревнование, ну хотя бы в самое простейшее, когда противники стараются пригнуть кисть один другого к столешнице.

– Ну и прекрасно, если понимаете, – Вячеслав Иванович словно бы сделал вид, что его мощная рука спортсмена, десятиборца или гандболиста нашла в руке Вадима неожиданно достойного, но тем более уважаемого соперника.

– Прекрасно, что понимаете, – повторил он и внезапно осведомился: – Значит, можете подтвердить, что ваш так называемый школьный товарищ получал от американцев подачки?

– Не могу! – испугавшись и потому даже не пытаясь взвесить свой отказ, замотал головой Вадим. – Я ничего подобного не видел, – слегка извиняющимся голосом пояснил он через минуту.

– Ну я не имею в виду, что американцы давали Шадрову пачки долларов, – усмехнулся Вячеслав Иванович, – для этого он слишком мелкая рыбка. Но, может быть, вы замечали у него какие-либо заграничные вещи? Паркеровские ручки, газовые зажигалки, не знаю, штаны эти самые тexasские, простроченные, американские сигареты?

– Севка курит "Шипку", – не возражая, а просто констатируя факт, ответил Вадим, – и джинсов я на нем никогда не видел. По-моему, у него их нет. Если бы они у него были, он бы из них не вылезал.

– Даже так? – Вячеслав Иванович вновь улыбнулся, однако не так уже открыто и приятно, как в прошлые разы. – А вы хороший товарищ, – заметил он, как бы даже уступая на мгновение упругому давлению Ва-

димовой кисти. – Это отрадно. Вот если бы я о Шадрове мог сказать то же самое.

Вот это был точно рассчитанный удар. Все прошлые, казалось, забытые обиды мгновенно ожили в душе Вадима с неожиданной остротой, если Севка мог перевестись на дневное, не подумав о нем, нарушив обещание действовать сообща, то почему бы ему теперь, оказавшись в пиковом положении, не попытаться поправить свою репутацию за Вадимов счет. Думать так было противно, но мысли эти были навязчивы. И еще вспомнилось, с какою естественной уверенностью в себе и в своем праве входил Севка в толпе студентов в факультетские двери, даже не подозревая о том, что Вадим наблюдает за его удачей из-за ограды университетского сквера.

Ему впервые пришло в голову, что верность, в идеалах которой все они воспитывались и в школе, и во дворе, может, не так уж и хороша для обыденной жизни. Хорошо умереть во имя этой верности, но как жить, используя ее в качестве единственного утешения? Вдруг представилось, что все удачники, счастливики, вообще так называемые состоявшиеся люди верны в сущности своей удаче, своему счастью, своей судьбе и предназначению и, надо думать, больше ничему другому. А те, что озабочены в основном соображениями нравственности, так и остаются при своем внутреннем совершенстве, не добившись ничего иного. Вадим чувствовал, что начинает злиться, но не мог разобрать на кого, на Севку или на самого себя.

– Так, значит, американских сигарет Шадров не курит? – уточнил Вячеслав Иванович, – ни "Мальборо", ни "Уинстон", и штанов техасских не носит, и доллары в швейцарский банк не кладет, – он вновь усмехнулся, будто бы проверяя, крепка ли еще Вадимова рука, а потом разом, без усилия прижал ее к столу: – Но ведь в ресторанах за иностранный счет гуляет?

Как ни странно, Вадим ждал подобного вопроса: То есть упоминания об их совместном сидении в "Национале", понятно, ведь большего греха он за собой не знал и не чувствовал. Правда, он не предполагал, что вопрос будет поставлен именно таким образом. Впрочем, именно в такой постановке и крылся для него выход из положения, поскольку расплачивались за обед они вместе с Севкой. Севка, конечно, по обыкновению своей широкой натуры, сам вел расчеты с официанткой, похожей на кустодиевскую купчиху, но в последний момент, склонившись как бы ненароком к Вадиму, прошептал ему на ухо:

– У тебя не найдется подкожной пятерки?

Пятерка, к счастью, нашлась, причем именно подкожная, то есть не рассчитанная ни на какие конкретные траты, как бы и не существующая вовсе, точнее, существующая, будто вещь в себе, ради некоего чувства, которое она сообщает.

– В ресторане, если вы имеете в виду кафе "Националь", – впервые почти спокойно произнес Вадим, – Шадров платил сам. – Он хотел сказать "за всех", но удержался, сообразив вовремя, что всех придется перечислять, а значит, называть Инну, быть может, каким-то чудом не

зафиксированную в тот день с ними. А если и зафиксированную, то не ему первому упоминать ее имя.

– Сам платил! – чуть ли не восхитился Вячеслав Иванович – Вы в этом уверены? А что, если он с а м признает, что угощал вас американец?

Вадим пожал плечами. Он очень хорошо помнил, что Чарльз-Карел даже не сделал попытки полезть за бумажником, чтобы на западный манер внести свою долю.

– Зачем Севке, простите, Шадрову это признавать? Чего не было, того не было.

Он хотел для верности рассказать о том, что добавил к Севкиному червонцу свою пятерку, но решил не дробить впечатлений и смолчал.

Между тем Вячеслав Иванович больше не улыбался, однако и не хмурился грозно, он был серьезен как человек, озабоченный решением серьезной неотложной задачи.

– Ты совершенно уверен, – вдруг на "ты" обратился он к Вадиму, – что платил твой приятель? Ты отдаешь себе ответственность, насколько важно твое свидетельство?

От того, что его обыденные слова возведены в юридический ранг, Вадим вновь испытал накат жаркой и потной волны испуга, но ответил по возможности твердо:

– Отдаю.

– А у меня есть другие сведения об этом вашем гулянии в "Национале", – зло сказал Вячеслав Иванович, – о том, за чей счет пили вы там коньячок. – Он посмотрел на часы и сильными пальцами побарабанил по столу. По этой чрезмерной, где-то уже виденной кинематографической выразительности Вадим понял, что Вячеславу Ивановичу позарез необходимо подтверждение того, будто расплачивался в "Национале" американец.

– Другие сведения, – повторил Вячеслав Иванович, еще раз взглянув на часы, подошел к двери и выглянул в секретарский предбанник. Потом вновь повернулся к Вадиму с выражением заметного удовлетворения на лице. В кабинет вошла Инна.

Всего два дня не видел ее Вадим, но по первому впечатлению за это несущественное время она изменилась больше, нежели за тот год, который Вадим провел в Читинском автобате. Какая-то особая зрелость проступила в ее облике, и это при всем при том, что Инна даже в школе выглядела вполне зрелым человеком.

Теперь же нечто отчужденно-дамское, почти высокомерное сквозило в ее взгляде, в медленных, полных снисходительного достоинства жестах, в той прямо-таки светской самоуверенности, с какою опустила она на подставленный Вячеславом Ивановичем стул. Не спрашивая позволения, Инна достала из сумочки коробку сигарет и, как бы заранее предвидя жест Вячеслава Ивановича, чуть наклонилась к поднесенной им зажигалке.

– Вы, надеюсь, знакомы? – с полуулыбкой спросил Вячеслав Иванович Вадима, демонстрируя тем самым, что формальностями не имеет права пренебрегать.



– Всего лишь с восьмого класса, – усугубляя шутливость интонации, ответил Вадим.

Инна, к его удивлению, не пожелала хотя бы взглядом поддержать его веселую интонацию. Просто кивнула головой с уже замеченной снисходительностью, факт есть факт, о чем говорить.

– Очень хорошо, – удовлетворенно отметил Вячеслав Иванович и тотчас поинтересовался: – Не отрицаете, что в августе нынешнего года вместе со своим другом Всеволодом Шадровым вы обедали в кафе "Националь" в компании гида с американской выставки?

До Вадима вдруг дошло, что это именно очная ставка и ничто другое, очная ставка с той, с кем всего только два дня назад они сидели поздним вечером в университетском дворе, соприкасаясь коленями, и ветер бушевал в сентябрьской листве над их головами.

– Не отрицаем, – засмеялся он, желая повернуть глупую эту процедуру фарсовой стороной, – и то, что Новый год встречали вместе, не скрываем.

И опять, против ожидания, Инна не приняла подачи, светской струйкой выпустила дым и заметила как бы между прочим, что обедом в сущности упомянутую встречу назвать нельзя, так, посидели, поболтали чуть больше часа.

– Надеюсь, беседа была приятная? – не утрируя иронии, полюбопытствовал Вячеслав Иванович.

Вадиму почему-то пришло на ум, что следующий вопрос наверняка коснется их недавнего сидения в сквере, общей, охватившей их паники, безумных намерений Инны поднять на ноги иностранную прессу, ее готовность на костер, на казнь, на любой сумасшедший поступок, и решил во что бы то ни стало отвести разговор в другую сторону. Он принялся рассуждать о подготовке американских славистов, что казалось естественным, поскольку американец в "Национале" отрекомендовался славистом, интересовался прижизненными изданиями Маяковского и других поэтов из лэфовской компании.

Вадим рассчитывал, что Инна подхватит его версию и поведет столь привычный и свойственный ей разговор о литературе, однако она пренебрегла этой возможностью, молчала и смотрела на него с некоторым сожалением, как на недотепу, осмелившегося привлечь всеобщее внимание своим якобы остроумным рассказом и теперь запутавшегося в собственных шутках. А в глазах Вячеслава Ивановича стояла смешанная с раздражением скука.

Наконец он не сдержался и спросил, а кто же платил за все эти литературные экскурсии? Вадим открыл рот, чтобы в который уж раз объяснить, как было дело, но Вячеслав Иванович поворотом головы дал понять, что вопрос относится к Инне.

Вадим даже обрадовался этому, его собственное объяснение наверняка прозвучало бы скандально, истерично и неубедительно, потому что сколько раз можно повторять одно и то же, а Инна в своей непривычной сегодняшней манере должна была ответить конкретно и точно.

– Кто платил? – переспросила Инна со скучливым выражением красивой обеспеченной женщины, не обремененной материальными сообщениями и расчетами. – Убей Бог, не помню.

Она не ведает, что творит, со страхом подумал Вадим, заметив на лице Вячеслава Ивановича уже знакомое победно-удовлетворенное выражение.

Инна поморщилась, демонстрируя бесплодные усилия памяти, потом утомленно пожала плечами:

– Нет, не помню. Просто не обратила внимания.

– Ты что? – удивляясь самому себе, небывало грубым голосом почти заорал Вадим. – Как это ты не помнишь! Ты соображаешь, что говоришь? Ведь только Севка один и общался с официанткой? Ты отдаешь себе отчет?! Севка же именно всех нас и позвал! Он же там себя хозяином чувствовал! Как это ты не помнишь?

Обиженная его тоном, Инна повернулась лицом к Вячеславу Ивановичу, как бы ища у него защиты.

Это выглядело уже явным предательством, невероятным, неслыханным, нестерпимо обидным от того, что снисходительная общническая улыбка в одно и то же время проскользнула по губам Вячеслава Ивановича и Инны. Вадим совершенно явственно ощутил, как отвратительный, шершавый комок застрял у него в горле.

– Наш друг напрасно горячится, – покровительственно-доброжелательным тоном произнес Вячеслав Иванович, вновь обращаясь более всего к Инне, – ему кажется, что его память – самая лучшая.

Конечно же, сотрудник органов хотел, чтобы Инна признала, будто платил американец, вдруг совершенно очевидно сделалось Вадиму, он даже уверен был, что она именно так и скажет, и тем, что она этих слов не произнесла, Инна подвела Вячеслава Ивановича. Однако подвела не слишком. Потому что мнимая беспамятность, рассеянность, невнимательность – это тоже аргумент в его пользу. Довод в пользу того, чтобы считать Севку иностранным наемником, расчетливым подонком, который на всех перекрестках агитирует за американский образ жизни, а за это жрет и пьет на счет ЦРУ в самых лучших московских ресторанах.

– Моя память не лучшая, – медленно выговорил Вадим, не узнавая своего голоса, – но она очень хорошая. Я твердо помню, что в кафе расплачивался Шадров. С моей помощью, потому что я добавил ему недостающие пять рублей.

– А вот это уже что-то новое, – отметил без улыбки Вячеслав Иванович, – что же вы об этом раньше не упоминали?

– Потому что не считал это важным, – все еще удивляясь дерзости своего тона, ответил Вадим, – да и неудобно было как-то признаваться в своем безденежье, у меня это была единственная пятерка... Инна! – без всякого перехода крикнул он, – опомнись, неужели ты всерьез думаешь, что мы гуляли на деньги этого жлоба-слависта?!

– Во-первых, я не гуляла, – глядя Вадиму прямо в глаза, ответила Инна, – я выпила чашку кофе и съела кусок яблочного пая. И потом, – она раздраженно повела плечами, – я уже сказала, что не помню, кто платил. Когда друзья зовут женщину в кафе, она имеет право не думать о деталях.

– Потому что она уверена в тех людях, которые ее пригласили, – вновь почти прокричал Вадим. Ему было стыдно спорить о десятках этих и

пятерках, пусть вполне для него существенных и все равно недостойных такого дотошного разбирательства, не имеющих права быть мерилом человеческой судьбы.

– Я заявляю совершенно официально, – опять-таки дивясь тому, что его язык произнес такие слова, продолжал Вадим, – что в кафе всех нас пригласил Шадров и расплачивался по счету он же. Я готов подтвердить это на любом суде.

Во взгляде Вячеслава Ивановича промелькнула кромешная насмешка, которую в то же время можно было принять за удивление.

– Предусмотрительно, ничего не скажешь, предусмотрительно, – покачал он головой, не то одобряя Вадимову готовность, не то осуждая ее безоговорочно. А Вадим кричал, что врать его никто не заставит, что если на то пошло, он разыщет ту официантку, которая в тот проклятый день обслуживала их столик, и она подтвердит, что платил ей Шадров, не может не подтвердить, несмотря на то что у нее каждый день миллион клиентов, она еще иронически посмотрела на то, как они с Шадровым шушукуются, соображая, хватит ли денег.

– Ну и как, хватило? – вдруг с пониманием, как-то совсем по-приятельски поинтересовался Вячеслав Иванович.

– Хватило в обрез, – растеряв кураж, признался Вадим. – Даже полтинника на чай не получилось.

И пояснил, что именно по этому поводу рассчитывает на ее память.

– Это разумно, – думая о чем-то своем, заметил Вячеслав Иванович.

– В этом есть смысл.

И тут же, улыбнувшись приветливо и свойски, сказал, что не смеет больше задерживать двух таких выдающихся людей, завтрашних выпускников, у которых сейчас наверняка масса серьезных дел в связи с преддипломной практикой, подготовкой к экзаменам и вообще с грядущим вступлением в большую жизнь, которой так необходимы сейчас по-новому, по-современному мыслящие молодые специалисты.

В итоге получилось так, что Инна и Вадим вышли в коридор как бы вдохновленные заботливым не то чтобы начальственным, но, так сказать, ответственно-значительным напутствием. И только в молчании пройдя несколько метров по глухому полутемному факультетскому коридору, почувствовали, быть может, одновременно, что им не хочется глядеть друг на друга.

Однако Вадим все же остановил Инну и почти силой заставил вернуться к нему лицом.

– Что ты несла перед этим... органистом? – по интенсивности чувства его шепот можно было считать криком. – Ты ведь прекрасно знаешь, что в "Национале" расплачивался Севка?!

От неприличной почти злости у Вадима перехватывало горло, язык будто задевал то и дело невидимые препятствия.

– А если бы, если бы даже и не знала... то все равно... ты же понимаешь, что они шьют Севке! На что хотя бы его наколоть!

Он хотел напомнить, как всего только два дня назад она металась по вечерней Москве, как готова была переполошить весь мир, с моста сигануть, сжечь себя на Красной площади, но все эти праведные, неот-

разимые упреки костью застревали у него в горле, а с губ слетали только маловразумительные, отрывистые вскрики:

— Как ты могла! Ты что, не соображала? От тебя ведь ничего не требовалось, кроме объективного свидетельства!

Инна своевольным обидным движением высвободилась из его рук, брезгливо повела плечами, словно отряхиваясь, и сказала, что ему все равно никогда ничего не понять.

Потому что его жареный петух не клевал и он представления не имеет, как все бывает на свете, чем оборачиваются эти самые так называемые объективные свидетельства. И какую пользу способно принести объективное нежелание давать какие бы то ни было свидетельства и показания.

Самое обидное было в том, что, как всегда, ее слова подействовали на Вадима убеждающе, — не смыслом своим, с прямым смыслом ему трудно было смириться, но интонацией, с какою прозвучали, выражением лица, которому соответствовали, всем запечатленным в них состоянием души. Как всегда, показалось, что она знает нечто, ему неизвестное.

На следующий день пришла весть, что Севку отпустили, и Вадиму тем более стало казаться, что именно в Иннинных словах была скрыта какая-то недоступная ему тайна такого благополучного оборота событий, что именно избранная ею во время очной ставки тактика способствовала этому быстрому освобождению.

Да и беседа с Вячеславом Ивановичем по прошествии дней не внушала больше таких уж опасений. Вадим даже мало-помалу рассказывать о ней стал за рюмкой в особо своей компании. И даже имя чуть было не пострадавшего приятеля почти привык употреблять, почему бы и нет, в конце концов, после всех передыг Севка взялся за ум и махнул с геологической партией куда-то на Саяны.

...На преддипломную практику Вадим с чувством неза заслуженного ежедневного счастья ходил в Институт новейших проблем, по сути дела, пропадал там целыми днями, в его библиотеке, оборудованной светлыми финскими стеллажами, в кабинетах, где на столах сотрудников кипами лежали иностранные журналы, в которых научные статьи вполне академического свойства перемежались глянцевыми фотографиями красоток и гоночных автомобилей, да просто в коридорах, почти в любое время дня наполненных остроумным вселенски непочтительным трепом. Инна тоже время от времени появлялась в этих стенах — поработать в библиотеке, проконсультироваться с руководителем дипломной работы. Но несмотря на всю контактность и обаяние она в институте так и не сделалась своей.

С Вадимом они выглядели по-прежнему хорошими друзьями, и тем не менее после той памятной, не объявленной официально очной ставки в кабинете замдекана между ними как бы возникла перегородка из идеально прозрачного новейшего пластика, сквозь которую не проникали никакие душевные импульсы. Ни тобою посланные, ни те, какие ты мог бы уловить.

Порой Вадиму казалось, что незримая эта преграда целиком создана обиженным его самолюбием, вдруг ни с того ни с сего охватывала его

сладкая тревога того позднего сентябрьского вечера, и даже листва начинала шуметь над его головой, однако проходила секунда, и стало вольно темно, понятно, что ни тревожного прекрасного сидения в университетском дворе, ни теплого прикосновения колен, ни кипящей над головами листвы не было на самом деле никогда.

Он почти смирился с этим фактом, при одном, однако, внутреннем условии, хорошо, пусть все это ему приместилось, но тогда приместилось и другое – и рослый десятиборец в профессорских тяжелых очках, и назойливые выяснения, кто за что заплатил, якобы имеющие принципиальное значение для судеб страны, и холодная, брезгливая красавица, отдаленно напоминающая возлюбленную одноклассницу.

В конце мая после защиты диплома на факультете происходило распределение. Вадим воспринимал его как неизбежную и даже приятно волнуемую формальность, памятуя о том, как заинтересованно и сердечно отнеслись в институте к его диплому. Не сумев скрыть радости, улыбаясь простодушно во весь рот, подошел он к столу, за которым разместились члены Государственной комиссии, шелкнул в нетерпении авторучкой, готовясь поставить где надо свою согласную подпись, и лишь в самый последний момент заметил, что в графе назначения указана контора, не имеющая никакого отношения к его обожаемой "фирме". Вначале он, разумеется, не поверил глазам, принялся панически растолковывать, что произошло досадное недоразумение, что его дипломом, оцененным на "отлично", руководил знаменитый доктор наук из того самого института, где он в течение года проходил практику...

– Вы же видите, как называется организация, в распоряжение которой вы направляетесь, – сухо заметила ему заместитель декана Зоя Константиновна. – Других заявок на вас нет. Что же касается института, о котором вы толкуете, то многие желали бы туда попасть. Однако увы... оттуда поступило лишь одно-единственное требование, и к вам оно не имеет никакого отношения.

К вечеру выяснилось, что отношение оно имело к Инне.

* * *

Обо всем этом Вадим рассказал мне в ту последнюю февральскую субботу, когда в просторной квартире одного из наших ребят собрались мы на вечер встречи по случаю тридцатилетия школьного выпуска. Хорошо выпив, но не захмелев, а только расслабившись, отойдя душой, мы сидели в замечательной кухне, которую наш рукастый одноклассник превратил отчасти в свою мастерскую, и трепались без всякого осознанного умысла о прожитой жизни, о своих конторах, в которых протрубили Бог знает сколько времени, о трусости начальства и о кознях прохиндеев-карьеристов, о том, что платят мало, но жить все же дают, извернуться можно...

Вадим говорил о том, что на работе к нему всегда относились хорошо, что называется, ценили и ценят, охотно поручают сложные за-

путанные, неблагодарные дела. Но вот что характерно, за все эти годы ни одному начальнику – ни прогрессивному, ни реакционному, ни компетентному, ни профану, ни хорошему, ни дурному не пришло в голову предложить Вадиму какой-либо ответственный пост, как говорится, смеха ради.

– Мне он не нужен, – кипятился Вадим, – в гробу я видал все их карьеры, но ведь ни разу!

Я кивал в такт его иронически горьким вскрикам и думал о том, как уныло похожи наши судьбы. Меня, например, семнадцать лет не выпускали за границу. Без каких-либо объяснений, резонов или просто намеков. Не выпускали, и все. Выдавали характеристики, включали в списки, а потом сухо извещали, что паспорт мне не выписан. Или что необходимость в поездке отпала. Вот и все, ноу коммент, как говорят в таких случаях англичане. Без комментариев. Идите, работайте. Мы и работали, шагали, брели, тянули воз, мало-помалу теряя из виду перспективу этого нашего неустанного движения, все больше подобного бегу на месте, утешаясь маленькими попутными радостями, вот можно передохнуть, вот близится очередная юбилей, вот с периферии приехал коллега и привез кое-что в кейс-атташе. Как говорится, из собственных подвалов.

Мне самому первую в жизни заметную должность предложили за две недели до этого тридцатого вечера встречи. Первые полчаса было лестно, все-таки оценили. А часа через два понял, что ни малейшей радости новое кресло в новом престижном учреждении мне не доставит. Хуже того, с тоскливым чувством догадался, что и пользы от меня на этом месте будет немного. Раньше надо было предлагать, это лет десять-пятнадцать назад, пока не испарилась еще, не выветрилась, не сошла на нет та вера в свое предназначение, с которой вышли мы из школьных дверей в конце пятидесятых. Позвонил, поблагодарил за честь и отказался.

Словно угадав мои мысли, Вадим заметил, что в гору пошли молодые ребята. Тридцать – тридцать пять лет самый возраст. Становятся главными инженерами, заместителями директоров, а то и директорами, возглавляют кооперативы, рвутся на внешний рынок. И все это как ни в чем не бывало, с сознанием совершенной своей правоты. Нам этого уже не суметь. Мы не были любимцами той могучей, безжалостной, беспощадной эпохи, но, похоже, что и нового времени окажемся пасынками...

Вспоминать – вот это мы умеем. Не оттого ли ретро – наш любимый стиль? "Беса ме, беса ме, мучо..."

Всеволод Шадров на вечер встречи не пришел, человек государственный, у него своя компания.

Не было и Толика Барканова, его искали, но не нашли, след его затерялся.

А Инну Шифрину искать не было нужды. Она уже девятый год живет в Бостоне.

1989 г.

Анатолий ШТЕЙГЕР

ПЛАТИТЬ СПОЛНА

* * *

*Всегда платить за все. За все платить сполна.
И в этот раз я заплачу, конечно,
За то, что шелестит для нас сейчас волна,
И берег далеко, и Путь сияет Млечный.*

*Душа в который раз как будто на весах:
Удастся или нет сравнять ей чашу с чашей?
Опомнись и пойми! Ведь о таких часах
Мечтали в детстве мы и в молодости нашей.*

*Чтоб так, плечом к плечу, о борт облокотясь,
Неведомо зачем плыть в море ночью южной,
И чтоб на корабле все спали, кроме нас,
И мы могли молчать, и было лгать не нужно...*

*Облокотясь о борт, всю ночь, плечом к плечу,
Под блеск огромных звезд и слабый шелест моря...
А долг я заплачу... Я ведь всегда плачу.
Не споря ни о чем... Любой ценой... Не споря.*

Рагуза, 1938

Стихи этого поэта вы наверняка читаете впервые.

Барон Анатолий Сергеевич Штейгер происходил из старинного швейцарского рода. Его предки переселились в Россию еще в начале прошлого века.

Поэт родился в 1907 году. Вместе с волной русских беженцев попал в Константинополь, а с 16-летнего возраста жил, скитаясь по Европе. "Все столицы видели бродягу", — писал он. Зимой был вынужден проводить в Альпах, в санатории: был болен туберкулезом, который и свел его в могилу в 37 лет.

Поэтическое дарование Анатолия Штейгера было высоко оценено его современниками. Когда-нибудь вы прочитаете замечательные письма Марины Цветаевой, обращенные к поэту, письма, полные любви и участия.

*Обнимаю тебя горизонтом
Голубым — и руками двумя! —*

писала она в стихотворении, посвященном Штейгеру.

Трагическая и светлая нота его стихов, их афористичность, надеемся, привлекут и вас.

Переживи, переживи.

Ф.Тютчев

*Здесь главное, конечно, не постель...
Порука: никогда твое не снится тело.
И, значит, не оно единственная цель...
Об этом говорить нельзя, но наболело...*

*Я бы не брал теперь твоей руки...
Упорно не искал твоих прикосновений.
Как будто невзначай — волос, плеча, щеки...
Не это для меня теперь всего бесценней.*

*Я стал давно грустнее и скромней.
С меня довольно знать, что ты живешь на свете.
А нежность и все то, что в ней и что над ней,
Привыкла ничего не ждать за годы эти.*

*Так мало надо, в общем, для любви...
Чем больше отдает — тем глубже и сильнее.
Лишь об одном молюсь, и день и ночь: живи,
А где и для кого — тебе уже виднее...*

*Подумай, на руках у матерей
Все это были розовые дети.*

И. Анненский

*Никто, как в детстве, нас не ждет внизу.
Не переводит нас через дорогу.
Про злого муравья и стрекозу
Не говорит. Не учит верить в Бога.*

*До нас теперь нет дела никому —
У всех довольно собственного дела,
И надо жить, как все, — но самому...*

(Беспомощно, нечестно, неумело.)

* * *

*Настанет срок (не сразу, не сейчас,
Не завтра, не на будущей неделе),
Но он, увы, настанет, этот час, —
И ты вдруг сядешь ночью на постели
И правду всю увидишь без прикрас,
И жизнь — какой она на самом деле...*

Берлин, 1935

* * *

*Не обычная наша лень —
Это хуже привычной скуки.
Ни к чему уж который день
Непригодными стали руки.*

*Равнодушие ("ведь не вернешь"),
Безучастие, безнадежность.
Нежность, нежность! Но ты живешь,
Ты жива еще в сердце, нежность?*

* * *

*У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: "Да, увы,
Любили... Как еще любили!.."*



СВАДЬБА

1

Все в этом мире случается,
Все непонятно для нас.
Пышною свадьбой кончается
Каждый хороший рассказ.

Вот понесли за невестою
Шлейф, и вуаль, и цветы.
Перед дорогою крестною
Стала прекраснее ты.

Узкие кольца меняются,
Сказано мертвое "да".
Повесть на этом кончается...

Падает с неба звезда
И на куски разбивается.

2

Священник ведет новобрачных.
Растерянный взгляд жениха.
Как облаком, тканью прозрачной,
Невеста одета, тиха.

Все тленно. Конечно, изменит
Она ему через год.
Но чем этот мальчик заменит
Все то, что он нынче не ценит,
Все то, что он ей отдает?

Давос, 1929

Так от века уже повелось,
Чтоб одни притворялись и лгали,
А другие им лгать помогали
(Беспощадно все видя насквозь) —
И все вместе любовью звалось...

Рим, 1934

* * *

Бедность легко узнают
по заплатке.

Годы —
по губ опустившейся складке
Горе?

Но здесь начинаются прятки —
Эта любимая взрослых игра.

"Все, разумеется,
в полном порядке".

У собеседника — с плеч гора.

* * *

Все писали стихи
В восемнадцать лет:
В восемнадцать лет
Каждый поэт.

Все мечтали о звездах,
О любви неземной,
О пылающих розах
На доске гробовой.

И пленительной дружбе —
Лучшем даре небес.
В автобусе, на службе
Ожидали чудес...

Все писали стихи
В восемнадцать лет,
Потому что всегда
Каждый мальчик поэт.

И мечтает о звездах,
О любви и стихах,
Пока взрослым не станет
И звезда не рассыплется
В прах.

Париж, 1931

Публикация Игоря ВАСИЛЬЕВА

Милдред ГОРДОН и Гордон ГОРДОН

Таинственный КОТ идет на дело

Перевод с английского Владимира ЛЬВОВА

8

Зику хотелось, чтобы ночи были темнее. Луна заливала ярким светом разросшуюся траву и густой кустарник, окружавшие заброшенную фабрику.

Вдвоем с Плимпertoном они сидели на корточках под высокими эвкалиптами. Когда-то эти деревья охраняли от ветра апельсиновую рощу, давно уже заброшенную и неплодоносящую. У ног агентов, необычайно смирный, сидел в коробке Д.К.

Зик планировал протащить коробку через густой кустарник к отверстию в стене, до которого было чуть больше шестидесяти ярдов. Плимпerton же остался бы на месте, чтобы обеспечить прикрытия на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Ни один из агентов, однако, не мог представить себе ситуации, при которой Арти бы насторожился и открыл огонь по Зику. И все-таки наибольшую опасность всегда представляет именно непредвиденное. Они отдавали себе отчет в том, что Ричфилд, без сомнения, услышит Д.К., но решит, что на улице просто очередной кошачий концерт. Кроме обеспечения прикрытия, Плимпerton будет поддерживать радиосвязь с агентами, стоящими на внешнем посту в доме через дорогу, и агентами наружного наблюдения, сидящими в припаркованной поблизости машине.

Плимпerton стал изучать джунгли сорняков, из которых выше всего росла дикая горчица, доходившая до пояса.

— Самое место для змей, — заметил он.

С этой мыслью в голове Зик лег плашмя и пополз по-пластунски, толкая перед собой коробку с котом. Он слышал, как Плимпerton шептал в микрофон:

— Келсо и информатор выходят на объект. Всем быть в состоянии оперативной готовности!

Тут без предварительного предупреждения Д.К. выдал максимум децибел. Долгим, непрерывным криком он поведал миру, что находится в руках злоумышленников. Крик этот был полон душевной боли, но в результате вызвал лишь обычную, примитивную злость по поводу столь недостойного поведения.

Как маленькие легкие смогли произвести на свет столь мощные звуки, Зик так и не уразумел.

— А ну заткнись, бабуин-переросток! — прорычал Зик.

Время от времени Зик замирал и прислушивался, а потом вглядывался поверх сухих стволов апельсиновых деревьев во мрак небес, где медленно плыли облака. По мере продвижения почва становилась все грубее. Колючки проникали сквозь одежду и царапали тело в кровь. Нос распух от пыли. Он почувствовал, что вот-вот чихнет. И прижал палец к основанию носа.

Узенький лучик света, прорезавший заросли травы, застал его врасплох. Он дернулся и замер, не рискуя приподнять голову и посмотреть в чем дело. Решил, что свет идет со стороны фабрики. Голосов не было слышно, но Зик понял, что у входа стоит человек. Это должно быть Арти Ричфилд, и он вглядывается в темноту, пытаясь разглядеть, где дерутся коты.

И тут Зик чихнул.

Арти прищурился, чтобы разглядеть, где спрятался человек.

— Слышал? — спросил он Меморандума, который вышел следом.

— Чего?

— Кто-то там чихнул.

— Это небось собака.

— По звуку — двуногая. — Арти вынул оружие из бедренной кобуры.

— Если стрельнуть в траву...

Он заколебался.

— Нет, в собаку я стрелять не буду. — И с сожалением убрал револьвер в кобуру. — Знаешь, что я делал дома с кошками? — Глаза его заблестели от удовольствия. — Добывал в городе трех-четырёх и тренировал на них собак. Мы делали вид, что это рыси. Любо-дорого глядеть, что с ними выделывали мои собачки! Хоронить было нечего.

Когда тяжелая древняя дверь со скрипом захлопнулась, Зик снова пополз вперед. Однако медленнее. Не исключено, что ведется наблюдение и оттуда следят, не шевельнутся ли заросли и не сломается ли вдруг слишком длинный стебель.

Странно, но Д.К. тоже замолчал. Он, наверное, решил дать себе отдых. Но что-то в его поведении телепатически передалось Зику как своеобразное предупреждение. Экстрасенсорная перцепция? Между ним и котом? Не сошел ли он с ума?

Позднее он понял, что скептицизм его был необоснованным. Не исключено, и на этом настаивала Пэтти, что между кошками и людьми действительно существуют взаимные экстрасенсорные контакты.

Внезапно он услышал страшный шум и удар, подобный грому. По-

началу он даже решил, что на коробку с котом напала одичавшая собака.

Он резко подтянулся вперед на одной руке, а второй стал шарить в поисках камешков. И увидел, что это действительно собака, причем всего лишь нахальный терьер. Его громкий лай, если внимательно к нему вслушаться, означал только то, что ему удалось загнать в ловушку уже очутившегося в ловушке кота. Пущенный Зиком камешек сразу же попал в цель. Терьер завертелся от удивления. И пока он думал, бежать или не бежать, Зик опять попал в луч света и снова замер, распластавшись. Он лежал неподвижно, и терьер тут же воспользовался ситуацией, возможно, решив, что его лай и последующее поведение привели в ужас нападающую сторону. Обезав Зика, он подумал, что загнал в ловушку не только кота, но и метателя камешков. И немедленно вцепился Зику в ногу.

В это же самое время Д.К. проинформировал представителя собачьего племени о доставленном ему неудобстве: применив весьма крепкие выражения, он сообщил, что совершит убийство, если доберется до врага. В этот момент Зик, пытаясь отогнать собаку, отпустил на мгновение ручку коробки. Коробка тут же завалилась на бок. Собака в все силы своего могучего тела, рассердившийся Д.К. стал биться в стенки. И хотя у него было всего лишь несколько дюймов для маневра, он ухитрился серией таранных ударов открыть верх. Вырвавшись на свободу, Д.К. мгновенно оценил ситуацию. Благодаря наследственным качествам, тренировке и опыту он рванулся со сверхзвуковой скоростью, вскочил на спину собаки и погрузил остро отточенные когти в мягкую плоть. Устроился он прочно. Собака поднялась на лапы, шлепнулась на бок и решила отступить и пожить лишний денек. Она отбыла, то и дело подвывая под аккомпанемент боевых песен победителя, усакававшего в ночь верхом на побежденном.

С места происшествия отступила не только собака. Зик, слыша свист пролетающих над головой камней, причем один или два почти поразили цель, сменил направление движения. Он продвинулся всего на несколько футов, когда погас свет, замер и прошептал в микрофон:

— Всем постам! Информатор едет верхом на белом терьере, предположительно в направлении бульвара — уточняю, Виктори-бульвара. Постарайтесь совершить перехват!

9

Когда Арти открыл дверь во второй раз, Меморандум почувствовал, что дрожит. Нервы. Надо взять себя в руки. Если от кошачьих битв у тебя поджилки трясутся, дело дрянь, даже если звуки кошачьей песни напоминают вопль человека, которому режут горло.

Кот, подумал Меморандум. Кот. "ИЩИТЕ ВЕЧЕРОМ В КОШАЧЬЕМ ОШЕЙНИКЕ". Он обыскал всю фабрику в поисках кошачьего ошейника. Ему не пришло в голову, что ошейник будет надет на живого кота. Неужели к нему шел кот и его перехватили?

— Слушай-ка, похоже, собачка-то в беде, — весело произнес Арти

Он любил, когда кричат от боли. Ему от этих криков было только приятно. — Ты куда это?

— Выйти и поглядеть.

— Чего-чего?

— Хочу на воздух. Мне нехорошо.

Арти почесал большой палец указательным, что означало недо-вольство.

— Бывает и хуже.

Он закрыл дверь, закрыл на замок и задвижку. Целый день он потратил на установку запоров и задвижек на дверях и окнах первого этажа.

Плечи у Меморандума дрожали.

— Мне обязательно надо выйти отсюда. Посмотри на мои руки! А рука у меня должна быть твердой!

Арти глядел с отвращением. Он ненавидел хлюпиков и нытиков. Если не уважаешь жертву, заниматься ею не стоит трудов. Все равно, как стрелять койотов в капканах.

Меморандум отвел взгляд.

— Прямо как в тюрьме, — пробормотал он. Он никогда не мог противостоять натиску. Ему внушал страх этот жуткий тип, радовавшийся, когда кому-то плохо.

Страшно было и оттого, что рядом ФБР. Он проклинал тот час, когда связался с ФБР. Только забот прибавилось. Если бы он не испугался, ни за что бы не пошел. А теперь деваться некуда. Если попробует их обмануть, очутится в тюрьме. Одно он знал наверняка: нельзя одновременно играть за две команды. Либо ФБР, либо этот страшила.

Если бы можно было все бросить и уйти! Ведь по существу он не совершил ни единого правонарушения! Ему стало ясно, что он по собственному почину бездумно влез в это дело. Так бывает, когда в последнюю минуту перед отлетом переменишь рейс и сядешь на самолет, который разобьется. В таких случаях спасения нет.

Подумав, он, однако, пришел к выводу, что виноват. Мысль оказа-лась малоприятной. Во-первых, деньги. Ведь еженедельно ему платили лишние двести долларов. Тайком. А он убедил себя, что это премия за высокое качество работы. Он вспомнил слова учителя в школе: "Каждому действию можно найти оправдание". И дело было не только в лишних деньгах. Он боялся сказать "Нет!". Ему хотелось так поступить, когда к нему обратились впервые. Но его одолел страх.

Они прошли к единственному источнику света, к лампочке без абажура, свисавшей с потолка конторского помещения. Меморандум ускорил шаг, его подгонял страх, как это было в семь-восемь лет, когда его задирали другие ребята, а он убегал через неосвещенные свалки.

В конторском помещении их ждал Филипп Дюваль. Золотые запонки, дорогой галстук стального цвета, сшитый на заказ летний костюм — весь облик этого человека был не к месту среди пыльных стульев с прямыми спинками и подле обшарпанного письменного стола. Меморандум терпеть его не мог. Он казался чересчур изнеженным. Вы-сокий, очень стройный, с подкрашенными черными волосами и стриж-

кой по французской моде. Настолько стройный, что казалось, будто на нем корсет. Глаза быстрые и зоркие. При этом ситуацию он схватывал мгновенно.

Арти сказал:

— Он тут воняет, что не может усидеть на этой помойке.

— Мне просто хочется знать, почему меня держат на положении пленника.

Дюваль бросил на него взгляд, полный сожаления.

— Дорогой мой, жаловаться надо вашим работодателям.

— Здесь даже нет телефона.

— Я бы рекомендовал послать письмо. Если вы отправите его экспресс-почтой сегодня вечером, завтра оно уже будет в Нью-Йорке.

Жестом фокусника он загнал сигарету в мундштук.

— Это, однако, может оказаться ненужным. Не исключено, что уже завтра я доставлю сюда для вас коллекцию. Если это удастся, то завтра в это же время вы распрощаетесь с нами и улетите в облака, прочь отсюда. А теперь, если позволите, мы с мистером Ричфилдом удалимся, чтобы обсудить одно секретное дельце.

Арти придержал дверь для Дюваля. Выйдя из конторского помещения, они стали прогуливаться вокруг маленькой стеклянной коробочки, откуда только что вышли. А внутри метался Меморандум. До него доносились лишь обрывки слов, а завершения беседы он и вовсе не слышал. Дюваль, обладая прекрасной дикцией и умением четко и ясно доводить свои мысли до слушателей, тихо произнес:

— Я настоятельнейшим образом утверждаю, что дело должно быть покончено аккуратным, точным выстрелом. Никакого крупнокалиберного оружия, никаких разрывных пуль. Наиболее предпочтительно оружие малого калибра...

10

Прошел час, а Зик все еще ковылял ярд за ярдом. Время от времени он переговаривался по радию с Плимпertonом и другими агентами, прочесывавшими окрестный район. Информатор мог находиться только здесь. Агенты, патрулировавшие на служебной машине, заметили, как тот в одиночестве переходил Виктори-бульвар и зашел в квартал маленьких домиков с ухоженными двориками и газонами.

Зик перемещался с осторожностью. Не хватало только в качестве завершающего аккорда услышать ружейный выстрел. Но двигался он со всей решительностью. Он не имел права вернуться в дом Рэндаллов без Д.К. Пэтти умрет от горя. Когда она и Ингрид любили кого-то, они любили по-настоящему.

После второго круга он заметил движение на крыше. Зажег фонарик и увидел, как Д.К. сидит и хладнокровно умывается. Зик одновременно испытал всеохватывающее чувство облегчения и раздражения. Какого рожна этот чертов кот ведёт себя с таким спокойствием? Его чуть не убило током, его сажали в клетку, как дикого зверя, на него бросалась собака. И вот он, довольный, сидит при лунном свете, снисходительно

взирая на мир. Зик понял: такого хладнокровия не найти ни у кого. Ни у кого.

И произнес в микрофон:

— Всем постам! Информатор обнаружен на крыше. Он умывается. Адрес: Сесна-бульвар, дом 11745. Может понадобиться помощь. Подтягивайтесь без шума.

За милю оттуда двое полицейских в машине настроили служебную рацию на частоту ФБР. Им следовало слушать собственную, но хотелось поразвлечься, а на своих волнах ничего интересного.

Трэйси подался вперед. Он поглядел на рацию, как иные люди смотрят на собеседника, не будучи уверены в том, что правильно его поняли.

— Эл, я не ошибся? Информатор умывается на крыше в одиннадцать часов вечера?

— Да, именно так и передали. Наверное, код. Знаешь, как эти фэбэровцы помешаны на шпионских штучках.

Дом был построен в старом американском стиле, с удлиненной низкой черепичной крышей. С одной стороны дома торчала кирпичная труба, а с другой — полукруглый сеновал, к которому пристроили гараж.

Плимпертон вглядывался в темноту. Теперь Д.К. осознал, что находится под наблюдением. Он внимательно поглядел на тех, кто копошился внизу, и решил впредь не обращать на них внимания.

— Пока мы тут, он вниз не спустится, — заметил Плимпертон. — Как вы понимаете, мы зарекомендовали себя далеко не с лучшей стороны.

Зик задумался. События этой ночи и так оказались несообразными: дикое мучения в поле, путешествие кота на крышу — все это надо было во время предугадать. Как всегда, гладко было на бумаге, сочиненной в тиши кабинета.

— Вы заходите со стороны трубы, — распорядился Зик, — я подберусь к нему со стороны сеновала. А внизу расставим агентов на случай, если он захочет прыгнуть.

Плимпертон спросил:

— Не разбудить ли нам жильцов? Или будем действовать без их ведома?

Зик направился к сверкающей белой двери. Про себя он молился, чтобы дом оказался пуст, но молитвы его не были услышаны. Сначала свет зажегся в одной из дальних комнат, потом в гостиной и, наконец, перед носом Зика. Низенький круглолицый мужчина лет под сорок глядел на него с изумлением. Он никак не мог понять, кто стоит перед ним.

Зик произнес:

— Приношу извинения за то, что разбудил, но у вас на крыше мой кот, и я прошу вашего разрешения снять его.

Мужчина отряхнулся, как собака.

Зик продолжал:

— Возможно, вы меня не расслышали. Я сказал, что мой кот...

— ...У меня на крыше. Я понял, что вы сказали, но не поверил. Не поверил, и все. Вы подняли меня, больного, посреди ночи из постели...

Женщина с длинным лицом и волосами, накрученными на бигуди, в накинутах на плечи изрядно помятом голубом халате встала позади мужа.

— Джо, что тут происходит?

— Какой-то шутник хочет снять своего кота с нашей крыши.

— Кота с крыши! — воскликнула она. — Он же пьяный!

— Ага, поезжайте-ка домой, мистер, и проспите, а если утром он все еще будет здесь...

У женщины перехватило дыхание.

— Джо, смотри, машина! — Из подъехавшей к дому машины выходили агенты. — Джо, отойди от двери, пока они не начали стрелять!

Зик просунул ногу за порог.

— Это сотрудники ФБР. — Зик предъявил удостоверение. — Я не могу объяснить, почему нам надо забрать с крыши этого кота, но я прошу держать это мероприятие в строгой тайне.

Джо передал удостоверение жене.

— Это и вправду сотрудники ФБР.

Она пренебрежительно хмыкнула.

— Любой может отпечатать такую штуку. — Недобрый взглядом она окинула Зика с ног до головы. — Таких невероятных историй я еще не слыхивала.

— Да, мадам, — согласился с нею Зик. — Это так. Но если бы мне надо было что-нибудь выдумать, я придумал бы что-нибудь поубедительнее.

Джо расхохотался.

— Что, этот кот сбежал из-под стражи? Объявлен в розыске? — Он снова рассмеялся. — Возьмите лестницу в гараже. Я бы вам помог, если бы чувствовал себя получше.

— Вы можете нам помочь тем, — объяснил Зик, — что погасите свет.

Они с Плимпertoном нашли криво сколоченную лестницу и приставили ее к верхушке трубы. Плимпerton полез наверх. Под тяжестью его тела трещала каждая из планок лестницы, но наверх он добрался благополучно.

За его продвижением внимательнейшим образом следил Д.К., устроившийся в центре крыши. Этот человек с самого начала показался ему подозрительным. Он всегда подозревал тех, кто внешне демонстрировал подчеркнутое дружелюбие и вел себя так, будто знал его еще котенком и потому имел право чесать его за ушами. Таким людям доверять нельзя, и оказалось, что этот мужик работает на пару с ублюдком, тихо крадущимся с лестницей на другой конец дома.

Как только Зик встал на вторую снизу планку, она треснула с шумом, напоминая падение высокого дерева. Он сумел удержаться и стоял на одной ноге не двигаясь. Никто, однако, не зажег света и даже не шевельнулся. Зик успокоился.

Взобравшись на сеновал, он повернулся лицом к Плимпertonу. А

внизу агенты заняли положенные им места. Зик тихо передал по радиации:

— Делать только по одному шагу! Если не обеспокоим кота быстрыми и внезапными перемещениями, он, возможно, не окажет сопротивления.

А в доме Джо стоял у окна.

— Я насчитал десятерых. Десять человек на одного кота. Ничего не понимаю.

— Это шайка пьянчуг, которых вышибли из бара, — сказала жена.

— Пойду звонить в полицию.

А прямо над ними Зик пытался удержать равновесие. Он обхватил ногами жердь сеновала. Кусочки черепицы были достаточно шероховаты, чтобы не поскользнуться, но слабо закреплены; он почувствовал, как они едут из-под ног. Но выхода не было. Он осторожно шагнул и прыгнул, и вдруг резкий мальчишеский голос спросил:

— Чего вы там делаете, мистер?

Зик медленно повернул голову и увидел внизу мальчишку лет пяти с взъерошенными волосами, в пижаме.

— Я могу вам помочь?

Мало-помалу к Зику вернулась уверенность в себе, воспитанная Академией ФБР в Куонтико, штат Вирджиния. В академии, однако, не учили, как работать с детьми и пожилыми дамами. А такой курс необходим. Дети и пожилые дамы были для него проклятием. Они возникали в самый неподходящий момент. Выходишь на дело и думаешь, что один, что никто тебя не видит, а нет: вернешься к машине, а на запыленном капоте пальцем выведено: "ФБР". Или приедешь в управление, а туда уже позвонила восьмидесятилетняя женщина, наблюдавшая за тобой из окна, и высказала свои соображения по поводу методики наружного наблюдения.

Зик ответил:

— Нет, мальчик, спасибо. Беги домой и ложись. У нас очень много работы. Нам надо измерить крышу. Может быть, придется класть новую кровлю.

— А он вам помогает? — Мальчик пальцем показал на Д.К.

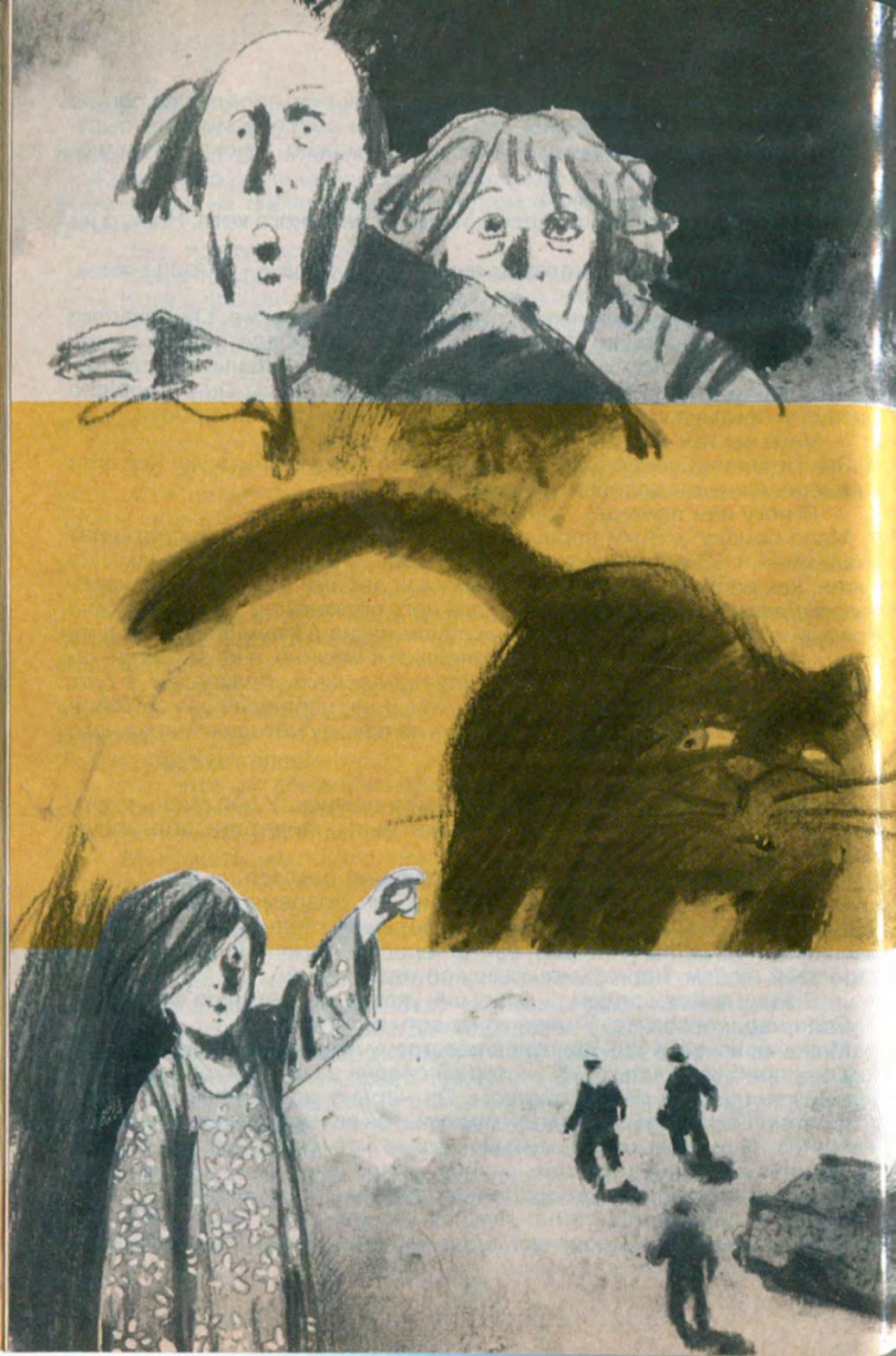
Зик хотел дать отрицательный ответ, но вовремя остановился и подумал, что ответ положительный в большей степени удовлетворит мальчика. Разум пятилетнего сочтет вполне логичной помощь кота взрослым людям, меряющим крышу во мраке ночи.

— Я живу совсем рядом. — Мальчик указал на третий по счету дом.

— Если надо, позовите. У меня тоже есть кот. Пока.

Мальчик исчез, и Зик двинулся навстречу Плимпertonу. Шаг за шагом они приближались к Д.К., который следил за их перемещением со все возрастающим беспокойством. Он нервно махал хвостом в такт возрастающему гневу. Напрягши мускулы, он весь спружинился. Взглянул вниз. Слишком много мужчин, разве что прыгнуть на одного из них. Но все они в шляпах, значит, опора для приземления ненадежна. Как и чучело на сеновале неподалеку от лестницы.

Хвост задвигался быстрее. Лучшая защита — скорость. Д.К. мог быстрее переместить свое тело, чем человек протянуть руку. Шансы,



однако, таковы, что они успеют перехватить его. Он это понимал. Но он им устроит такую битву, которая надолго останется у них в памяти.

Зик пригнулся, подобрался к Д.К. на расстояние вытянутой руки и резко выбросил ее вперед. То же самое сделал Плимпerton. Д.К. рванулся правее Плимпertonа и избежал захвата. Но увидел еще одну движущуюся фигуру и дал задний ход. Тут он, однако, оказался под правой рукой Зика. Натянулась кожа: Зик не сумел схватить его целиком, а лишь захватил участок шерсти. Д.К. заорал и попытался вырваться, но пальцы Зика не разжимались. Разозлившись, он дернулся, пустив в ход острые как бритва когти. Они вонзились в податливую кожу, но жертва дико дернулась, и на теле остались четыре кровавые дорожки. Д.К. почувствовал, что с невидимой стороны кто-то ему угрожает, и попытался вырваться. Но не успел. Плимпerton взял его в замок и прижал к крыше. А кот продолжал испускать душераздирающие звуки, парализующие нервную систему любого живого существа в пределах слышимости.

Пока Плимпerton держал кота, Зик ловил коробку, запущенную снизу одним из агентов. Затем при включенном свете и под аккомпанемент приглушенных голосов обитателей окрестных домов Зик перешел по расце:

— Информатор перехвачен. На сегодня все, если позволит Бог.

За несколько минут до этого в ответ на переданный женским голосом вызов в полосу света въехала полицейская машина. Трэйси сидел за рулем и потому не видел разыгравшейся на крыше драмы. Действие пересказывал Эл:

— Ты знаешь, там наверху действительно сидит пара мужиков. Сейчас сам увидишь.

Трэйси почти целиком высунулся через опущенное стекло и попытался разглядеть происходящее.

— Силы небесные! — произнес Эл. — Они гоняются за котом! Видишь кота?

Трэйси выскочил на тротуар. И замер у самого дерева.

— Я не поверил бы, даже если бы ты рассказал об этом на суде под присягой.

Он снял трубку радиотелефона:

— Машина 780 проверяет вызов по адресу: Сесна-бульвар, дом 11745. Пьяных не обнаружено. Работают агенты ФБР... Нет, мы не вмешивались... Откуда мы знаем, что это агенты ФБР? На них шляпы, вот откуда. В Южной Калифорнии шляпы носят только агенты ФБР... Я только что хотел доложить об этом, хотя вы мне не поверите. Они ловят на крыше кошку... Нет, не домашника с "кошкой". Кошку. Живую кошку... Клянусь, что это такая же истина, как Священное Писание. Вот именно. Пока мы туда ехали, там кто-то умывался... Да, именно это я и передал, там кто-то умывался...

Трэйси положил трубку.

— И как они отреагировали? — спросил Эл.

— Приказали сидеть и не рыпаться. Не двигаться с места ни на фут.

Они шлют сюда наряд проверить, не выпили ли мы на дежурстве.

11

С тяжелым сердцем Зик подъезжал к дому Рэндаллов. В коробке Д.К. рычал, не переставая. Рык был напряженным. Кот надорвал глотку.

Только он один не капитулировал. В отличие от Зика и Плимпертонна. К величайшему сожалению, полученная Плимпертонном от Бога приязнь к кошачьим подверглась серьезному испытанию и оказалась недостаточной. По пути к Рэндаллам Плимпертон попросил подвезти его домой.

— Быть не может, что это чистокровный кот, — произнес он. — Это явная помесь с каким-то другим зверем.

Зик испытал чувство отчаяния, как на краю бездны. Надо было найти способ передать записку Меморандуму. Шансы были таковы, что при нормальных обстоятельствах Арти Ричфилд подождет, пока Меморандум пересадит камни в новую оправу. Но если станет известно, что Меморандум побывал в ФБР, то ждать он не будет.

Зик с трудом выполз из машины и побрел по дорожке.

— Привет, — произнес он полузадушенным голосом, когда Пэтти открыла дверь. За спиной у нее появилась встревоженная Ингрид, глядевшая во все глаза, привез ли Зик Д.К.

— Не беспокойтесь, — сказал Зик, — с котом все в порядке.

— И все-таки что-то случилось, — заявила Пэтти.

Ингрид старалась поскорее открыть коробку, но у нее ничего не получилось. На помощь пришел Зик. Он сумел выпустить Д.К., который рванулся прочь на всех парах, но вдруг резко обернулся и плюнул в Зика. Злым, полновесным плевком.

— Старик, ты прав, — произнес Зик и чихнул. — Поделом мне!

Тут закричала Ингрид:

— У него выдрана вся шерсть!

И она указала на бок Д.К.

Зик кивнул:

— У нас произошла маленькая неприятность. Когда он после схватки с собакой очутился на крыше...

— Схватки с собакой? — переспросила Пэтти.

— Я сейчас расскажу. Ну а когда я его оттуда снимал, у меня в руках оказалась шерсть, а у него в когтях мясо.

И Зик показал повязку на правой руке.

— Зик, милый! — Пэтти осмотрела раненую руку и поцеловала Зика в щеку.

— Помогает, — сказал он. — Еще как помогает. — И продолжал: — Ничего не вышло. Он так и не попал на фабрику. Мы шли по своим делам, как вдруг на нас кинулась злая собака. Я уже сказал, у нас с нею была схватка, и когда я говорю "у нас", то это так и было.

Зик задрал брючину и продемонстрировал изжеванный носок.

Пэтти опустилась на пол возле Д.К.

— Бедненький ты мой!

Д.К. перестал сердиться и замурлыкал громко-громко, чтобы сделать приятное Пэтти. Независимо от того, с какими превратностями судьбы он сталкивался во внешнем мире, дома он всегда мог рассчитывать на симпатию.

Ингрид сказала:

— Поставлю музыку. Пластинки всегда успокаивают ему нервы. — Она объяснила Зику: — Он любит всех композиторов за исключением Вагнера. Вагнера он почему-то просто не выносит.

— Вот этого я совсем не понимаю, — ответил Зик. — Сегодня он выдавал такие звуки, что "Метрополитен-Опера" с удовольствием записала бы их на пленку для иллюстрации "Полета валькирий".

— У меня есть пластинки, которые он любит, — продолжала Ингрид. — С музыкой Мак-Канна. Он обожает Мак-Канна.

Д.К. воспитывали на музыке этого джазового пианиста. Когда он был еще котенком, Ингрид часами проигрывала ему великого Мак-Канна. Когда Ингрид собралась уходить, к ней обратилась Пэтти:

— По-моему, где-то бежит вода. И сильно.

— Это Майк заливает сусличьи норы.

— Посреди ночи? Скажи ему, пусть идет домой и ложится спать. Двенадцатый час. Да и тебе пора.

— Да, дорогая сестрица. Знаю. Тебе не терпится остаться наедине, и я не против. Мне так хочется, чтобы у меня был такой шурин!

Тут Пэтти осенило.

— Чуть не забыла, — сказала она Зику. — Звонили из управления. Завтра с утра надо позвонить по этому номеру.

Он сразу же узнал номер Шерли Хатчинсон.

— Она красивая?

— Она помогает нам по одному делу, — усмехнулся Зик.

— Сногшибательная блондинка размерами 35-25-35 дюймов.

Зик рассмеялся.

— Таких у нас не бывает. Чаще всего это старые гримзы.

Он сказал это непреднамеренно. Само вырвалось. При этом он совершил два служебных нарушения. Первое: Бюро вряд ли одобрило бы такое поведение агента — навешивание на любую женщину ярлыка "старая гримза"; второе: с какой стати скрывать привлекательность мисс Хатчинсон?

Пэтти прижала палец к губам, подошла к дверям и застала врасплох миссис Макдугалл прежде, чем та успела оторвать ухо от двери.

— Боже, вы меня так напугали! Только я хотела позвонить, как дверь открылась, будто меня подстерегали черти! Но неважно. Я так беспокоилась. Я сказала Уилберу, что должна проверить, как чувствует себя Дьявольский Кот. Я так боялась, что он умирает, я же видела, как его уносил мистер Келсо. Я умею улавливать волны из эфира, и когда я на них настраиваюсь...

— Он просто что-то съел, — сказал Зик. — Пришлось в больнице делать промывание желудка. Он проглотил утку, двух крыс, бурундука и мячик для пинг-понга.

Миссис Макдугалл захихикала как маленькая девочка.

— Да вы шутите, мистер Келсо! А я-то думала, что в ФБР работают серьезные люди. — И тут же выпалила: — Так вы возили кота к ветеринару?

— Да нет, ему просто захотелось прокатиться на машине. В такую прекрасную ночь!

— Опять вы мне морочите голову! — Она деланно рассмеялась, давая тем самым понять, что собирается расследовать происшедшее до конца. И обратилась к Пэтти: — Не дадите взаймы молока? Уилбер всегда перед сном выпивает наперсточек. В медицинских целях. Для облегчения дыхания.

В ту же секунду Пэтти принесла стакан молока, и миссис Макдугалл, внимательнейшим образом осмотрев Д.К., удалилась. Тут же появился Майк, выплывший из задней двери.

Он потрепал Д.К. по шерсти, а тот счастливо зевнул.

— Осторожно! — предупредила Пэтти. — Он сегодня дрался с собакой.

— Хотел бы я посмотреть на эту собаку! — Майк затараторил: — Я нашел главный вход в нору и пустил туда воду из шланга. На полную мощность. Не закрывай кран, Пэт. Я читал, что у сусликов подземные ходы тянутся на много миль. Увидимся, Зик. Спокойной ночи, Пэт.

Когда он удалился, Пэт обняла Зика:

— Жаль, что ничего не вышло.

Он взъерошил ей волосы.

— Придется придумать что-нибудь другое. — Он тихо продолжал: — У тебя так не бывает: идешь спать, взбиваешь подушку, опершись на нее, смотришь в окно, а там шелестят деревья, похожие на заросли кустарника на фоне отдаленных гор, — и вдруг само собой приходит решение сложного вопроса, никак не дававшееся до тех пор?

Заросли кустарника и дальние горы. Он так часто приводил этот пример, что она научилась их видеть. Он рос в поселке Парамп на юге штата Невада, где живут всего четыреста душ. Зик любил обыгрывать это название: Па-рамп, сокращенное от "Пара-рамп", "Супер-отходы".

— Все, чем занимаешься, — утверждал он всерьез, — в конце концов превращается в отходы.

— А там не водятся знаменитые скачущие лягушки? — поддразнивала Зика Пэтти.

Она любила, когда он рассказывал о себе. Делал это Зик нечасто. Она еще не встречала людей, которые бы так не любили говорить о своей жизни.

Вырос он на ранчо в глубине каньона, и мама его до сих пор живет в стареньком, разваливающемся домике, где он родился. Раз в год, летом, он туда ездит.

— Мне все время кажется, что она постареет, но у нее есть то же, что и у тебя, Пэтти, — жажда жизни. И она совсем не меняется.

— Хотелось бы познакомиться с нею.

— Обязательно. Поедем через водопад Маунтин-Спрингз, так как с этой стороны самый красивый вид на Парамп. Ты едешь через перевал,

а внизу расстилается широкая зеленая долина, где и находится поселок. Там сейчас выращивают хлопок, но во времена моего детства в основном занимались скотоводством. И горнодобычей. И у каждого из нас, ребят, была лошадь.

Она предложила:

— Прогуляемся вокруг квартала?

— Не слишком ли сложно будет для миссис Макдугалл вести наблюдение на таком расстоянии?

Пэтти рассмеялась:

— Я люблю ходить пешком. Люблю с детства, просто, когда я была совсем маленькой, я гуляла с отцом и держалась за ручку, чтобы не упасть. — Она добавила: — Я люблю гулять с тобой и держаться за руки, наверное, по той же самой причине, и тогда я знаю, что нас бережет Бог в небесах.

Часом позже она тихонько проскользнула в затемненный дом. Разделась, не зажигая света, и собралась ложиться, как вдруг дверь бесшумно распахнулась.

— Сестричка, — прошептала Ингрид, — можно? Знаю, что уже страшно поздно...

— Давай заходи.

Много лет назад они занимали одну комнату. Тогда Пэтти действительно была старшей сестрой, потому что в те годы разница в возрасте что-то значила. Именно тогда Ингрид стала копировать поведение сестры даже в мелочах.

Дверь раскрылась пошире, и вошел Д.К., прыгнул в изножье постели, не говоря ни слова, свернулся в клубочек, а потом столь же внезапно спрыгнул.

Ингрид сообщила:

— Я дала согласие Джимми поехать с ним на пляж Ньюпорт-Бич.

— Все-таки согласилась?

— А ты не одобряешь?

— Я в этом деле не судья.

— Мне не хочется обижать папу, и я знаю, что я его этим обижу, и мне самой больно, но, сестричка, я не переживу, если Джимми возьмет с собой другую. Папа не понимает, каково мне, как важно все это для меня, я не сплю, я не могу есть, я не могу заниматься...

— У отца, наверное, тоже когда-то так было.

— Это было так давно, что он уже забыл. Я читала, что люди с возрастом забывают переживания молодости.

— Смотри какие люди.

— Видимо, да.

— Девочка, ты видишь Джимми другими глазами. Для тебя он слишком близко. И ты не замечаешь, что у него нет твоей глубины, твоей основательности, твоего умения себя вести. Помнишь, как говорила бабушка: у одних есть, у других нет?

— Я же не собираюсь за него замуж. Я просто еду на свидание, которое слишком много для меня значит.

— Почему бы тебе не поговорить с ним откровенно? Назвать вещи своими именами?

Ингрид задумалась.

— Он ничего не поймет, — с отчаянием высказалась она и продолжала: — Но я все равно поеду. В Диснейленде будет такая толкучка, а на пляже веселее. Джимми просто хочет, чтобы всем было весело. А папа не понимает. Он мне не доверяет. Я знаю, он мне не доверяет. Он боится. — Она раздраженно добавила: — Джимми никогда не придет в голову ничего такого.

Пэтти повернулась на бок лицом к Ингрид.

— А ты не думаешь, что можешь оказаться в такой ситуации, когда ты сама не совершишь ничего предосудительного, но другие пары чересчур увлекутся или кто-нибудь из вас непреднамеренно попадет в неприятное положение и придется вызвать полицию?

— Ты выхватила этот вопрос у него изо рта, — отреагировала Ингрид. — Он мне не доверяет.

— Это не так. Ты подходишь не с той стороны. Он просто знает, что любой из нас, попав в определенную обстановку, может сломаться. Мы ведь люди, а не машины.

— Может быть, и так, но я знаю, как думает и чувствует Джимми и как думаю и чувствую я. Не хочу причинять папе боль, но я поеду, и спорить тут не о чем.

Пэтти рассмеялась.

— А кто спорит?

Ингрид прыгнула с кровати.

— Поговоришь, и на душе легче.

— Приходи в любое время. За разговор денег не беру.

У дверей Ингрид остановилась.

— Ты не будешь против, если Д.К. сегодня поспит со мной?

— Он твой в любое время.

Ингрид просунула руки под кота и понесла его, как на подносе. Висящий хвост болтался туда-сюда. Сам же кот и глазом не моргнул.

— Можешь не закрывать дверь, — сказала Пэтти.

Глядя на Ингрид, Пэтти подумала: вот какой я была семь лет назад. Слушаешь ее — будто заводишь старую, полузабытую пластинку. С годами забываешь не сами проблемы, не сами чувства, но их остроту. В этом разница. Как тебе тогда чего-нибудь хотелось, как отчаянно ждала чьего-нибудь поступка и молилась Богу, чтобы это случилось; как посреди ночи вдруг начинало гулко стучать сердце и ты просыпалась, просыпалась в ужасе, и ужас этот не проходил. Хотелось выговориться, освободиться от него, но ты боялась, что тебя не поймут или, что еще хуже, твои слова прозвучат банально и смешно.

Острота ощущений...

Шерли Хатчинсон поставила свой "ягуар", выпущенный восемь лет назад, на стоянку позади "Пале-Рояля". Выпрямившись во весь рост, составлявший полных пять футов восемь дюймов, она постояла мгновение под жарким сияющим солнцем, вдыхая свежий июньский воздух.

Она заметила пыльное пятно на "ягуаре". Взяла специальную бумажную салфетку и убрала его. Для таких мелочей нужен мужчина. Такой, как мистер Келсо. Ей нравились его загадочная улыбка, упрямые губы, голубые глаза, взор которых, казалось, пронизывает тебя до дна. Он двигался и разговаривал столь естественно, что создавалось впечатление, будто знакома с ним целую вечность. И если таким образом чувствуешь себя, то и действовать надо соответственно. Она восхищалась тем, как умело он ускользал от нее, когда она дотрагивалась до его рук, как ловко менял тему разговора, когда она начинала о личном. Она не скрывает своих намерений! Мир не знал бы и половины забот, если бы люди были сами собой, а не бегали, прячась друг от друга, как на бале-маскараде.

Она прошла пешком по узенькой чистенькой аллее — а других в Беверли-Хиллз и быть не может! — нажала кнопку звонка служебного хода, и Дэн распахнул перед ней тяжелую бронированную дверь.

— Доброе утро, мисс Хатчинсон, — уважительно произнес он. На нем была рубашка с короткими рукавами, но позднее он наденет пиджак и повяжет галстук, пройдет к парадной двери, встречая покупателей. А они увидят перед собой мускулистого мужчину лет под тридцать ростом шесть футов четыре дюйма, он вежливо улыбнется и подобострастно поклонится. Его примут за швейцара. На деле он исполнял роль охранника. В наплечной кобуре у него был кольт 38 калибра, и ему достаточно было ступить ногой на кнопку за дверью, чтобы примчались полиция Беверли-Хиллз и группа вооруженных людей из частного детективного агентства.

— Мистер Дюваль у себя? — спросила она. Она хотела посоветоваться насчет вещей для покупателя, который интересовался браслетами ювелирной фирмы "Уинстон" стоимостью около тридцати тысяч долларов.

— Он просил не беспокоить его по пустякам, — многозначительно произнес Дэн.

Она улыбнулась:

— Тогда все на свете пустяки.

Когда она проходила мимо дверей кабинета, Дюваль диктовал. Он наговаривал текст на пленку, а потом давал секретарю на расшифровку. Она пошла дальше и вошла в торговый зал-салон в стиле Людовика Четырнадцатого с высоким потолком. Все здесь было выдержано в стиле столетия: зеркала, гобелены, узорные канделябры, обюссонские ковры, золоченые кресла. Даже два стола с бархатной столешницей, на которых раскладывались драгоценности, относились к тому же периоду.

В нижний ящик одного из них, намеренно оставленный открытым, она опустила кошелек. Менее чем в футе от стола находился выход кондиционера. Нагнувшись и делая вид, что шарит в кошельке, она могла слышать голос Дюваля более или менее отчетливо. Больше всего ее пугала телекамера, которую по правилам полагалось включать в десять утра, когда магазин начинал работать. На письменном столе у Дюваля стоял телемонитор, с помощью которого он наблюдал за про-

исходящим в салоне. Если он лично знал покупателя, он выходил из кабинета и обслуживал его сам. Когда телекамера работала, у среднего ящика стола загоралась красная лампочка. Поэтому, подслушивая, она не сводила глаз с индикатора.

Приходилось считаться и с другим опасным фактором: работающим в автоматическом режиме фотоаппаратом, установленным в углу и делавшим снимки каждые тридцать секунд. Как и телекамеру, Дэвид включал фотоустановку в десять. Однако в отличие от телеконтроля Шерли не имела ни малейшей возможности знать наверняка, ведутся ли фотосъемки.

Сегодня она нервничала. Зная, что поступает правильно, она тем не менее ощущала, что совершает акт предательства. С момента подачи ею заявления о приеме на работу Дюваль был к ней церемонно-предупредителен в лучших традициях Старого Света. Когда ей делал операцию аппендицита, он посылал ей цветы. Когда у нее умер дедушка, после похорон она получила от Дюваля соболезнования. Когда хозяин узнал, что Шерли еженедельно посылает матери двадцать пять долларов, он увеличил ей зарплату на эту сумму. Она ценила эти знаки внимания, так как была одинока. Шерли ничем не отличалась от тысяч девушек из больших городов, ведущих самостоятельный образ жизни; семья и старые друзья далеко; у нее почти не было шансов встретить молодых людей своего возраста, и потому она почти не ходила на свидания. В те редкие минуты, когда позволяла себе беспристрастно проанализировать ситуацию, она понимала, что время и обстоятельства наложили на нее свой отпечаток. Но чаще она пренебрегала очевидностью. Верила в счастье, в дружбу и товарищество, в открытость чувств, в неподдельный энтузиазм, в то, что жить надо по завету обожаемого отца: "Считай, что жизнь — это огромный цирк, и тебе никогда не станет больно. Никогда не забывай смеяться, Шерли, никогда".

В это утро ей удалось расслышать почти все, что говорил Дюваль. Он диктовал четко и ясно. Наклонившись, она глядела в зеркальце, находящееся в кошельке, и неторопливо красила губы, как вдруг ощутила наступление тишины, затем диктовка возобновилась. Похоже он повторно произносил уже сказанное.

Голос, раздавшийся всего в нескольких футах от стола, застал ее врасплох.

— Мисс Хатчинсон! — Шерли резко обернулась и вскочила на ноги. Губная помада с шумом ударилась о стол. Она попыталась поздороваться, но слова застревали в горле.

Темные, подбритые брови сошлись в узел.

— Не будете ли вы, мисс Хатчинсон, столь любезны сообщить мне в порядке ли у нас система кондиционирования? Неужели она работает не совсем удовлетворительно?

Она слышала, как его шепчущий голос продолжает доноситься из отверстия системы кондиционирования. Значит, он поставил диктофон на воспроизведение последнего наговоренного письма. Он нарочно подловил ее.

С замиранием сердца она ответила:

— Система кондиционирования? Да нет, мистер Дюваль, по-моему, она работает нормально. Я ничего не заметила.

— Значит, я ошибся. Мне показалось, что вы ее проверяете. А теперь просьба: когда придет миссис Роджерс, покажите ей, пожалуйста, вот эти четыре вещи и предупредите, что их подобрал для нее я лично. Разложите их на витрине, а когда она появится, дайте мне знать.

Она механически кивнула.

Все кончено. Он узнал, что она подслушивает, и догадывается почему.

13

Начальник управления Ньютон пригласил Зика зайти. Агенты, собранные на совещание по делу о вымогательстве, выходили из кабинета начальника.

Ньютон встал и потянулся. Руки легли на затылок.

— Последний раз я играл в кегли год назад и когда поиграл вчера, чуть не развалился по кусочкам. Ну, что там у вас новенького?

— Шерли Хатчинсон. Произошло что-то такое, о чем она не может говорить по телефону. Поэтому мы договорились встретиться в шесть тридцать вечера. Она подберет меня на углу Догении и Уилшир-бульваров в Беверли-Хиллз.

— Она вас подберет?

— Я ничего не мог поделаться. Она настаивала.

— Вы не умеете проявлять твердость с женщинами. Не позволяйте им командовать собой. Они ведь тоже просто люди. Так мне кажется.

Ньютон стал ходить взад-вперед по кабинету. Он никогда не мог подолгу сидеть на месте.

— Вчера вечером вам следовало предварительно составить план-расчет по собакам. — Выражение "план-расчет по собакам" было не оговоркой, а служебным термином. Выходя на местность, агенты обязаны были заблаговременно определить количество собак и место их пребывания. После этого следовало оповестить их владельцев и просить не выпускать собак до тех пор, пока не завершится операция.

Зик сказал:

— Я совершил еще одну ошибку: посадил кота в коробку. К моменту прибытия на место он был в дурном состоянии духа.

— Думаю, что тут вы к себе слишком строги. Вы просто не понимаете кошек.

— Я бы сказал по-другому: кошки не понимают меня.

Ньютон трезво подытожил ситуацию:

— Мне безразлично, какой вы изберете метод, но мы обязаны наладить линию связи с фабрикой. Нам требуется заранее знать, когда Дюваль передаст драгоценности Меморандуму, когда коллекцию повезут в Нью-Йорк и кто это сделает.

Зик согласился, но заметил:

— Нам поможет только кот. Можно было бы, конечно, послать агента

снять показания счетчиков, но Ричфилд следит за нашим информатором, как ястреб. Передать Меморандуму записку предельно опасно, а получить сведения от него и вовсе невозможно.

— Но если кот туда не попадет...

— Попадет, — заявил Зик. — У меня есть идея.

Вскоре после полудня он рассказал Пэтти, что он придумал. Он приехал на Бедфорд-драйв в Беверли-Хиллз и поставил машину за квартал от салона-люкс, где работала Пэтти. Она беседовала с покупателем. В глазах у нее появился огонек, заживавшийся, когда Зик оказывался рядом.

Он неловко прошелся по толстому ковру и ощутил, что на него уставились все находившиеся в магазине, будто он был светочем, ниспосланным свыше. Он робко пристроился на хрупком стульчике и взял журнал "Харперз Базар". Содержание его ни в малейшей степени не интересовало, но по крайней мере было куда прятать глаза. Иначе ему пришлось бы отводить взгляд от манекенов в нижнем белье или наблюдать за тем, как выходящая из примерочной кабинки женщина без стеснения застегивает при нем "молнию" на пляжных шортах. В магазинах готового платья он всегда чувствовал себя неловко, будто подглядывает за кем-то. Поэтому Зик погрузился в журнал и из серии рекламных объявлений сделал вывод, что стоит женщинам перестать носить лифчики, экономика страны покатится под откос.

Он услышал, как продавщица говорила покупательнице:

— Так приятно показывать вам модели потому, что вы так хорошо их носите. Вы умеете придавать одежде шикарный вид. И знаете толк в материях. Вижу, как вы ощущаете стиль ткани. А это редкость. Люди не всегда отличают ткань хорошего качества от броской дешевки.

Зик вздохнул про себя. Тут Пэтти пригласила его взглядом и пошла в примерочную.

— Высший класс! — произнес он, кивнув в сторону продавщицы.

В глазах Пэтти заплескали искорки.

— За этим ты сюда и пришел, чтобы сообщить мне это?

Он покачал головой.

— Увы, чтобы отменить обед...

Огоньки погасли.

— Мы так редко видимся.

— В шесть тридцать мне надо встретиться с информатором по срочному делу. Если бы можно было не ходить!

Она улыбнулась.

— Все ясно.

— Тебе всегда все ясно.

— Не волнуйся, — продолжала она. — Не пройдет и сорока лет, как мы выйдем на пенсию и сможем как следует узнать друг друга. Зик! Только не здесь! Сюда могут войти.

Он быстро поцеловал Пэтти.

— Веди себя прилично, — сказала она как будто всерьез. — Когда мы познакомились, я подумала, что ты так и не осмелишься меня поцеловать, а тут...

— Учатся же есть маслины!

Она шутливо пригрозила ему.

— Нельзя ли опять попробовать с Д.К.? Думаю, что на этот раз все получится, если мы заранее предупредим местных жителей не выпускать собак и если... — Он заколебался.

— Если что? — Она насторожилась. Паузы Зика не предвещали ничего хорошего.

— Если Д.К. на фабрику отнесет Ингрид.

Глаза Пэтти расширились и засверкали. Зик поспешно продолжал:

— Надо, чтобы человек, которому кот доверяет, прополз с ним по полю. Я не смогу. Ты знаешь, что он обо мне думает. И больше нельзя сажать его в коробку. Он тогда с самого начала настраивается не на то.

— Я его понесу, — тихо сказала она.

Зик заерзал.

— Вначале я хотел попросить именно тебя, но задумался и решил вот что. Ингрид меньше и моложе и сможет маневрировать на местности более ловко, а там джунгли...

— А я слишком старая? Это ты хочешь сказать?

— Пэтти, что ты!

— В двадцать четыре года ты решил меня списать.

Она выскользнула из объятий Зика и сказала:

— Ингрид сегодня устраивает вечеринку. Даже достала где-то "козла отпущения". Но думаю, что она может и опоздать. — Глаза Пэтти затуманились. — Как ты думаешь, ей ничего не угрожает?

— Я с нее глаз не спущу. Мы все будем рядом, прикроем ее. — Он вынул из кармана пиджака листок бумаги. — В восемь часов ей надо быть с Д.К. вот по этому адресу. Кроме нее кота никому доверить нельзя.

Она кивнула, но тень сомнения все еще не исчезла из ее глаз.

— Я позвоню тебе часов в двенадцать ночи, — сказал Зик уходя.

По пути он столкнулся с девочкой-подростком, примерявшей вечернее платье поверх джинсов. А из служебного помещения доносился голос Пэтти, уведомлявшей владелицу магазина миссис Вильямс, что если надо, она все же сможет вечером участвовать в показе моделей.

В кабинете он обнаружил записку, прижатую пружиной скорострельного. Поверх приклеен стандартный ярлычок красного цвета "СРОЧНО!". Это оказался доклад агента, который вел наблюдение из дома против заброшенной фабрики. В записке, в частности, была следующая информация: "СПЕЦАГЕНТ МАРТИНЕК СООБЩИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ В 1.17 ДНЯ О ТОМ, ЧТО СЛЫШАЛ РЯД ВЫСТРЕЛОВ: ОТ ПЯТИ ДО ВОСЬМИ, ВИДИМО, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФИРМЫ "ДЕЛТОН РАББЕР КОМПАНИ" В 12 ДНЯ".

Ровно в шесть тридцать пять вечера Зик вышел из служебной машины и прошел полквартала до угла Догени и Грегори-вэй. Проверил,

нет ли наблюдения. Двое мальчиков на скейтбордах с опасностью для жизни неслись по дорожке, ведущей под уклон из дома на мостовую, пожилая женщина в свободном платье-”мешке” стояла и читала вечернюю газету. Интерес к Зику проявило лишь одно существо: задыхающийся от жары боксер.

Зик подождал на углу десять минут, нервно шагая взад-вперед со стиснутыми кулаками, приказывая себе держаться свободно и неприужденно, но с той минуты, как узнал о выстрелах на территории заброшенной фабрики, его одолел страх. Он несколько раз звонил агенту Мартинеку. Нет, никто не заходил на фабрику и не выходил оттуда. Нет, там больше не стреляли. Независимо от личного отношения к Меморандуму для Зика он в первую очередь был информатором Бюро, за которого Зик нес ответственность. И если он погибнет, Бюро сочтет виновным Зика.

Когда Шерли Хатчинсон бесшумно остановила у тротуара свой ”ягуар”, Зик залез в машину и тихо, бесстрастно произнес:

— Привет!

— Я всегда мечтала увозить с улицы мужчин, — томным голосом сообщила она.

— Что случилось? — спросил Зик.

— Расскажу, как только приедем.

— Куда приедем?

Она мотнула головой в западном направлении, в сторону Уилшир-бульвара.

— Разве я вам не сказала? Я везу вас на обед.

— Обед! Я только что сжевал сэндвич.

— Вам там понравится.

— Но нас могут увидеть вместе!

— Мистер Дюваль не увидит. У него сегодня встреча в Пасадене.

Как это сказал Ньютон: ”Проявлять твердость с женщинами”? Он попытался:

— Когда я звонил вам домой, вы решили, что за вами следят. И настаивали, чтобы для наших встреч был благовидный предлог.

— В этот день у меня было желание разыгрывать спектакль. У меня бывают такие дни. Думаю, что не только у меня. Но теперь это неважно.

— Для меня как раз важно. — Она попыталась зажечь сигарету одной рукой, но ничего не вышло. Зик дал ей прикурить от зажигалки. — Послушайте, мисс Хатчинсон...

— Шерли.

— Ну ладно, послушайте. Я веду серьезное расследование, и потому мне нельзя показываться с вами в общественном месте.

— Я с вами в безопасности где бы то ни было.

— Не в этом дело. Если меня идентифицируют и доложат мистеру Дювалю, наше расследование горит синим огнем, а вы попадаете в безвыходное положение.

Она повернула в сторону Беверли-бульвара и поехала через деловой район города.

— Я так вас люблю, когда вы серьезный. Как маленький мальчик, играющий во взрослого.

— Ваш вариант абсолютно не подходит. Вы просто не отдаете себе отчета в том...

— Вы не хотите узнать, что произошло?

С решимостью отчаяния он поуютнее устроился на сиденье. Как объяснить происшедшее начальнику управления Ньютону, другим сотрудникам Бюро? Что он такого сделал, что ему на жизненном пути попалась эта Шерли? В то же время он знал, что сочувствия ни от кого не дождется. Он оказался в обществе блондинки, о которой можно только мечтать. Золотой умницы, если ум мерить лишь показателем коэффициента интеллектуальности. И в то же время женщины, мысли которой меняются, как ветер. А воевать с ветром он не умеет.

— Вы на меня не сердитесь? — Она нежно положила руку на его руку. В это время они входили в поворот, и машина готова была поехать сама по себе. Зик разинул рот, а Шерли отняла руку и вцепилась в руль.

— Я никогда не думала, что мне понравится агент ФБР. Я думала, что это неприступные мужчины, глядящие стеклянными глазами и твердо стоящие на своем.

— А я именно такой, — неуверенно возразил Зик.

— Мне было бы очень страшно, если бы рядом не было вас.

Машина подъехала к отелю, отделанному изразцами в мавританском стиле и увитому плющом. Подбежал швейцар. И Зик сделал последнюю попытку:

— Мисс Хатчинсон, умоляю, выслушайте меня.

Она шла вперед. Он семенил за нею через просторный, заставленный пальмами холл в ресторанный зал.

— Келсо, — бросила она метрдотелю. — Зик Келсо. Заказ на двоих.

— Да, мадам. Сюда, пожалуйста.

Их провели за загородку в дальний темный угол ресторана.

— Вы так хотели, мадам?

— Да, спасибо.

Зик сел рядом с ней.

— Правда, тут мило? — заметила она. — Что вы пьете?

Он покачал головой.

— Я на работе. По крайней мере, мне так кажется.

— А мне мартини. Очень сухой.

Он профессионально оглядел помещение, не заметил ни одного знакомого лица и ни одного, кто бы глядел на них. Она придвинулась поближе. Когда она прижалась к нему, он стал решать извечную мужскую проблему: повести себя трусом и отодвинуться или оставаться на месте?

Он остался на месте.

Она сказала:

— Когда я пришла утром на работу, я услышала, что он диктует. Я подумала, что он скажет что-нибудь для нас важное, и стала слушать через кондиционер. Нагнулась и стала подкрашивать губы... Спасибо.

— Последнее относилось к официантке из бара.

Трус в Зике заставил отодвинуться на дюйм.

Она продолжила:

— Он всегда пользуется диктофоном. Он поставил его на воспроизведение, чтобы я подумала, что он еще там, а сам незаметно проскользнул в салон. Дюваль застал меня за подслушиванием через систему кондиционирования.

В ответ на настойчиво-конкретные вопросы Зика, она стала вспоминать подробности.

— Все утро я ходила такая напуганная, что все время роняла книгу заказов, а днем не могла есть. После этого я несколько раз сталкивалась с ним. Приезжала миссис Роджерс. Это наша постоянная покупательница. Она приобрела браслет за тридцать тысяч долларов.

Прибыл салат: для нее — с сыром "рокфор" за дополнительную плату в пятьдесят центов, а для него — с маслом и уксусом.

— Вспомните, что произошло до этого, — говорил Зик. — Что могло вызвать у него подозрения?

— Я такая голодная, — сказала она, поглощая салат. — Мне так хорошо и спокойно с вами, что я в первый раз за день захотела есть.

— Что могло вызвать у него подозрения? — повторил он свой вопрос.

Она так и не могла припомнить, чем себя выдала. Ей казалось, что вела себя как обычно.

— Его что-то насторожило, — настаивал Зик. — Иначе быть не может. Вот почему для вас опасно показываться в моем обществе.

Она заговорила тише:

— Вы ужасно сердитесь на меня. Я теперь не усну, потому что мне вообще не хотелось вас сердить.

— Пока мне не ясно, как он мог узнать про вас что-то конкретное, — сказал Зик. — И я не думаю, что если он утром застал вас врасплох, он сделает опасные для вас выводы. Поступить надо так. Идите завтра на работу и ведите себя, как ни в чем не бывало. Будьте с ним такой же, как всегда. Не подлизывайтесь, но и не грубите. Будьте сама собой.

Официант принес бифштексы: ей — хорошо прожаренный, ему — с кровью. Он откусил кусочек, лениво поднял взгляд и замер, держа вилку в поднятой руке. Этого он не ожидал. Он был потрясен. Такого не может быть. Просто не бывает. Тело его охватил холод, хотя сердце отчаянно билось.

За несколько столиков от него Пэтти демонстрировала итальянский трикотаж. Он почти не слышал голоса Шерли, обращавшегося к нему: "Зик... Зик..." Внутренний голос приказывал: "Надо что-то делать! Что-то делать! Найти точку опоры!"

Он попытался взять себя в руки и прекратить паниковать и, когда Пэтти приблизилась к ним, бросил на пол кольцо, подарок Пэтти к Рождеству, и тут же полез за ним под стол.

— Кольцо! — пробормотал он. — Я его потерял!

Под столом было темно. Сверху раздался голос:

— Зик! Это моя нога!



Затем послышался голос Пэтти, и под столом воцарился ужас:

— Видите, как мило? Всего за сорок девять долларов девяносто пять центов. Из Флоренции. Только в нашем салоне. Вот наша карточка.

Он увидел, как медленно поворачиваются ее ноги. Красивые ноги. Ну, быстрее, умолял он про себя. Быстрее!

И тут он услышал, как Шерли сказала:

— Мой друг уронил кольцо.

“Мой друг”? Хватит. Пусть завтра же начальник управления передает ее другому агенту.

«Или уберите ее от меня, или я подам в отставку», — скажет с Ньютоном самым решительным тоном.

Ноги продолжали двигаться. Боже, сколько времени требуется женщине, чтобы сделать полный круг! Тут Шерли дернула ножкой, ударив его по лицу. Он еле-еле сдержался.

Ноги ушли в сторону, и он поднялся, явственно услышав, как хрустнули позвонки.

— Нашел! — объявил он, демонстрируя кольцо.

— Вы пропустили прекраснейшее платье и прекраснейшую модель.

— Нам пора ехать. — Он попробовал выйти из-за стола. — Срочно.

— Ехать? Не доев бифштексы? — спросила она невинным голосом.

— Какого рода срочность могла возникнуть, пока вы были под столом?

— Я просто кое о чем вспомнил.

— Не будет бифштекса, не будет “подсадной утки”. Не слишком-то вы любезны. Если бы мне пришлось беседовать с мистером Гувером...

— Не надо так громко. И, ради Бога, вы же информатор, а не “подсадная утка”.

Она засияла.

— Правда? Честно?

Пэтти отходила все дальше, и он громко вздохнул. Отрезал еще кусок бифштекса и проглотил его целиком. В результате перехватило горло и он закашлялся. Она с сочувствием коснулась его щеки.

— Бедный, бедный мальчик! Может быть, если я постучу по спине...

— Нет, спасибо, у меня все в порядке. — Он отпрянул, как собака, которой не хочется, чтобы ее трогали.

Модели приходили и уходили, блондинки и брюнетки, в платьях с жакетами в тон, дневных ансамблях, трансформируемых в вечерние, и в тончайших вещах из шелкового трикотажа. Как только новая модель выходила из-за занавеса в дальнем конце зала, сердце Зика уходило в пятки. Было так темно, что пока девушка не доходила до середины зала, нельзя было узнать, кто пришел.

Они уже кончали обедать, когда опять появилась Пэтти, на этот раз в белом летнем хлопчатобумажном платье. Плечи, белые от пудры, сияли под лучом прожектора, высветившим причудливо уложенные волосы.

Он стал озираться по сторонам, безнадежно ища спасения. Сойдет любой старый трюк. Все равно что. Он посмотрел, куда ведет провод от стоявшей на столике лампы. Взгляд его бежал по проводу так быстро, как бежит огонь по запальному шнуру. Наконец он нашел розетку

и незаметно для Шерли выдернул вилку шнура. Теперь они сидели в темноте. Зик склонился над яблочным пирогом, как это сделал бы близорукий.

Пэтти говорила:

— В нашей секции молодежной одежды это платье стоит двадцать девять долларов девяносто пять центов. Хлопок. После стирки гладить не надо.

— Какая прелесть! — заметила Шерли.

От необходимости отвечать его спасло появление официанта, который с жаром заверил их, что электрик будет прислан немедленно.

— А мне так нравится, — сказала Шерли.

— Мне тоже, — добавил он.

Пэтти прошла мимо, и он встал.

— Больше ждать нельзя.

Она рассмеялась.

— Не пугайте меня.

Двое официантов шествовали с зажженными свечами.

— Как это романтично! — сказала она.

С другого конца зала шел электрик.

И тут Зик заметил, что Пэтти пошла обратно. Она направлялась прямо к их столику.

— Я сейчас буду, — сказал он. В последний раз ему удавалось с такой быстротой вставать на ноги из положения сидя, когда он играл в защите за университет штата Невада.

Мимо проходил высокий, ладно скроенный мужчина в очках с уолл-стритовскими манерами. Зик обнял его за плечи.

— Меня мало интересуют акции фирмы "Джонс и Лафлин", — сказал он, двигаясь рядом. — Колебания их курса чересчур цикличны. А вы как думаете? Как только падает уровень продаж автомобилей...

Мужчина решительно сбросил руку Зика и, готовый к дальнейшим действиям, произнес:

— Прошу прощения! — Произношение было подчеркнуто гарвардским. — Я разве знаком с вами?

— Нет, и я, друг мой, не собираюсь с вами знакомиться, но мне надо отсюда срочно исчезнуть, а вы похожи на человека, с которым можно говорить про акции фирмы "Джонс и Лафлин".

— Метр! — встревоженно крикнул мужчина. — Метр! — заорал он.

Метр тут же возник. Зик продолжал двигаться к выходу. Он слышал, как этот мужчина говорил метрдотелю:

— Кто-то должен принять меры. Вызвать полицию. Я его никогда в жизни не видел, а он подходит ко мне...

Зик дал администратору доллар и попросил передать Шерли, чтобы она вышла к нему в холл. Он удивился, увидев, что она тут же послушалась. Он быстро вывел ее на улицу, и к ним со стоянки подошли "ягуар".

— А теперь слушайте. — Он разговаривал с нею, как с лошадьми на ранчо перед объездкой. — Немедленно поезжайте домой и не выходите. Позвоню попозже. К тому времени у меня будут новости.

Шерли нежно прикоснулась к его руке.

— И хватит телячьих нежностей! — крикнул Зик.

Она тут же рванула машину с места, не дожидаясь, пока он отнимет руку от затворенной двери.

— Осечки тоже бывают, — утешил швейцар.

Зик покачал головой. То ли "да", то ли "нет". Он не знал, как поступить. Он нарушил с полдюжины правил поведения сотрудников Бюро; не сумел избежать появления на людях в обществе информатора; позволил личным обстоятельствам вмешаться в ход расследования; резко говорил с информатором без малейшего повода. Скорее всего, она для ФБР потеряна. Если в Вашингтоне узнают, что произошло сегодня вечером, он год будет строчить объяснительные.

Из дисциплинарной тюрьмы на острове Уэк.

15

План-расчет по собакам начали составлять в шесть часов вечера. Девять агентов поделили между собой территорию площадью около половины квадратной мили.

Днем Зик провел с ними инструктаж. Он выработал для них стандартное обращение к населению: "Мы — агенты ФБР, и нам нужна ваша помощь. Сегодня мы будем вести в вашем районе расследование, а лай собаки может нас выдать. Потому просьба не выпускать собак из дому".

Агентам никто не возражал. Однако многие были озадачены. На лицах можно было прочесть открытым текстом: как это собака может сорвать расследование?

— Никогда в жизни не слышал подобной чепухи, — заметил один тип в майке. — Нельзя ли еще раз взглянуть на ваше удостоверение?

Другой, от которого на целый квартал несло сивушным перегаром — он только что пришел с работы, — тут же позвал жену:

— Эй, ты, слышишь? За нами пришли! Наша пустолайка чего-то натворила! — И он вперил налитые кровью глаза в агента. — Что она наделала? **Я имею право знать, что она наделала!**

А одна из опрошенных женщин заявила:

— Собака? То ли есть, то ли нет. Месяц назад она перебралась на другое место жительства. За четыре дома от нас. Только не пытайтесь нам ее вернуть. Если ей там нравится больше, чем у нас, пусть там и живет.

За несколько минут до восьми на сцене появился Зик. Он до сих пор не мог прийти в себя после инцидента за обедом. Анализируя случившееся, он так и не мог понять, с какой стати вдруг полез под стол, какой черт его дернул так себя вести. Он находился в ресторане по службе беседовал с подопечным информатором. Надо было сидеть смиренно и представить женщин друг другу: "Привет, Пэтти! Знакомься: мисс Хатчинсон — мисс Рэндалл". И чего он испугался?

Было еще одно обстоятельство, выводившее его из себя. Он почти ничего не рассказал Ньютону о сегодняшней операции. Ньютону он сообщил, что владелец агента X-14 доставит его на командный пункт

с тем, чтобы "не беспокоить его заранее". Он, однако, не разъяснил, что "владелец" агента X-14 — семнадцатилетняя девушка, которая поползет вместе с X-14 по зарослям сорняков и кустарников. Ни Ньютон, ни вышестоящее начальство не дали бы "добро".

На бумаге Ингрид и Д.К. были в полной безопасности. На деле все могло быть иначе. На бумаге Ингрид обладала исключительной трезвостью суждений и умением оценивать обстановку, не поддавалась панике, а он и полдюжины других агентов обеспечат ей, если понадобится, огневое прикрытие. На деле события могут развиваться с такой быстротой и непредсказуемостью, что ни один человек не в силах будет предотвратить их.

К тому моменту, как приехала Ингрид, сумерки сменились мраком. Она прибыла в разболтанном "форде" десятилетней давности и поставила машину в дальнем конце узенькой дорожки, специально приведенной в порядок Плимпertonом. А у заднего стекла, подтянутый и важный, как старый генерал, сидел Д.К. Он вглядывался в темноту и внезапно прыгнул как пантера на переднее сиденье. Там он оперся о спинку и, перенеся вес на задние лапы, подтянулся так, что через боковое стекло стали видны его сверкающие глаза. Именно так он обычно устраивался в припаркованной машине. В этой позе напряженного ожидания он мог простоять и час, пока не покажется собака. И тогда из ниоткуда раздавался боевой клич индейцев племени сиу, а собака уносилась, спасая свою жизнь и думая, что за ней гонятся все демоны ада.

— Нет, — сказала Ингрид. — Собак сегодня не будет. — Она погладила кота по шелковой спинке. Он же поглядел на нее с упреком. Он был абсолютно уверен, что тут пахнет собаками и ей не надо ему мешать, когда он стоит на страже. Просто пока они ведут себя тихо...

Зик подошел к той стороне машины, где сидела Ингрид, и заглянул внутрь. При свете приборов заметил, что Ингрид напялила старые джинсы и отцовскую ковбойку из грубой ткани. Волосы скрыты тюрбаном.

— Жаль, что ты не пошла на вечеринку.

Глаза Ингрид блестели от возбуждения.

— Предпочитаю вечеринки со взрослыми. Но не задаром. С тебя коробка печенья "Герл-скаут".

— Учишься у брата?

— Ладно. Две коробки. — Щеки ее горели.

По другую сторону машины материализовался Плимпerton.

— Как сегодня чувствует себя мой маленький герой? — спросил он Д.К. тоном, которым взрослые разговаривают с детьми.

Д.К. зарычал. Номер с "маленьким героем" не прошел.

— Плимпerton! — крикнул Зик.

— Ничего не понимаю, — заговорил Плимпerton. — Они меня любят.

Все до единого. Из двадцати семи миллионов кошачьего населения нашей страны только этот — исключение.

Он отошел потерянный.

— Увидимся на командном пункте.

— С ним все в порядке? — встревоженно спросил Зик.

— Он такой голодный, что съест медведя. Бедненький! Пришел ко мне в комнату и вежливо попросил, чтобы его накормили обедом. Он никогда не сердится. Такой джентльмен!

Джентльмен? Из него бы получился достойный спутник пирата, идущего Гибралтарским проливом.

Зик вручил Ингрид портативную транзисторную рацию.

— Повесь на шею икрепи под рубашкой, чтобы не болталась. — Он помог перекинуть шнур через тюрбан. — Времени у нас достаточно. Операцию начинаем в восемь тридцать.

Он вынул точечный фонарик и осветил аэрофотоснимок фабрики и окружающей территории.

— Двинешься отсюда и поползешь по диагонали через поле. Дорога тяжелая. Придется продирааться через густые заросли.

Она не отрывала глаз от крепких, длинных пальцев Зика. Время от времени они касались обветренного, загорелого лица, которое было лишь в нескольких дюймах от нее. У него самый тихий и самый властный голос на свете. Он знает, что делает, а это так важно в этом мире — знать, что ты делаешь.

Некоторое время назад Ингрид решила, что когда она выйдет замуж, то муж у нее будет такой, как Зик. Или отец. Или похожий сразу на них двоих. Жаль, что Зик такой старый. Нет, она не собиралась отнимать его у Пэтти, но если он вдруг надоест сестре...

Зик понимал ее. Всегда. Ему интересны ее дела. Когда она покупает новую пластинку, он всегда хочет ее послушать. А когда у нее были нелады с математикой, Зик пригласил товарища по работе, который позанимался с нею.

Именно о Зике думала она, когда писала зачетное сочинение на полугодие на тему о затруднениях, испытываемых взрослыми, когда они "налаживают контакт" с подростками. Она утверждала, что беда не в том, будто подростки отгораживаются от взрослых, как уверяют последние. Беда в том, что у них просто нет общих интересов и тем для обсуждения. Как правило, взрослым совсем неинтересно, чем увлекаются подростки, а подростки наглухо замыкаются в собственном мире. Результатом становится разрыв, подобный тому, какой бывает между взрослым и взрослым или между подростком и подростком.

Ингрид напряженно вслушивалась в слова Зика.

— Отверстие для удаления золы находится вот в этой точке, на два фута ниже уровня пола. Поверхность его около квадратного фута. Вчера вечером мы над ним поработали, когда потерпели фиаско с котом, и теперь оно открывается легко и бесшумно. Постарайся не шевелить джунгли сорняков больше, чем необходимо. И прежде чем запускать Д.К., замри на минутку и прислушайся, нет ли кого поблизости снаружи и внутри.

Она старалась сконцентрировать все свое внимание на советах Зика. Но ее тревожило случившееся дома незадолго до ее ухода. Надо предупредить Зика, но когда лучше это сделать: сейчас или после операции?

А он продолжал:

— Итак, когда запустишь его внутрь, ползи назад той же дорогой и жди на исходном рубеже в положении лежа. Внутри у нас есть союзник, который постарается выпустить кота. Но мы не знаем, пустит ли он его через переднюю или заднюю дверь. Оба выхода под наблюдением, и я предупрежу тебя, через какой пойдет кот, а тогда ты выйдешь из кустов и пойдешь по тротуару, будто ты здесь живешь.

Она спросила:

— А можно будет ему посвистеть? Он всегда бежит на свист. Разве не так? — спросила она Д.К. и погладила его, а он повернул голову и стал лизать ей руку. Потом всеми четырьмя лапами он встал на сиденье. Насчет собак он, видимо, ошибся.

Зик задумался и ответил:

— Можно. Там подумают, что хозяин подзывает собаку.

И тут она решила, что скажет ему обо всем по окончании операции. Сейчас еще не время.

Зик вручил ей специально приготовленный ошейник с прорезью, куда уже была спрятана свернутая много раз записка. Прежде чем снять с Д.К. старый ошейник, Ингрид дала ему понюхать новый, а затем поменяла ошейники местами.

— Теперь у тебя два воротничка, — произнесла она.

Зик продолжал:

— Я буду находиться на командном пункте под эвкалиптом. — Он показал точку на аэрофотоснимке. — Ты будешь все время прикрыта, и с тобой ничего не произойдет. Но ты должна быть смелой.

В ответ она улыбнулась:

— Я сделаю это во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. — Попробовала унять дрожь в ногах. Боже мой, а вдруг она не сможет ходить? И что у нее случилось с сердцем?

Сверили часы.

— Я пошел. Начнешь ползти через одну-две минуты.

Ингрид взяла на руки Д.К., целиком и полностью поглощенного процессом умывания. Разве кому-нибудь придет в голову, сколько надо потратить времени и сил, чтобы содержать шерсть в чистоте? Удивительно, но люди понятия не имеют, сколько они смогли бы сделать в свободное время.

Кот тут же напрягся. Почувствовал, что предстоит ночь решительных действий. Стал вглядываться в темноту, расширив зрачки и выгнув шею.

Она вылезла из машины и опустила ногу на асфальт. Как хорошо, что она может ходить! Она поспешно миновала освещенное окно и двинулась в сторону тупика, застроенного низенькими домишками. Свет почти нигде не горел. Священный час телевизора, когда нежданно-негаданно заявившуюся тетю Джейн забьют до смерти, хотя бы в воображении.

Зик подлез под ограду из колючей проволоки. Поднял нижнюю струну. Не выпуская Д.К. из рук, Ингрид медленно опустилась на колени и пролезла под колючим забором. На руки она натянула садовые ру-

кавицы, а нос прикрыла платком, чтобы не забились пыльца от растений.

— Мы с ума сошли, правда? — прошептал Зик и пропал из виду. Эта небрежно брошенная фраза окончательно сняла тяжесть с ее души. Она лежала тихо-тихо и гладила Д.К.

16

Зик и Плимпerton сидели на корточках в темноте под гигантским эвкалиптом. Это и был командный пункт. Отсюда Зик будет поддерживать радиосвязь с остальными агентами. Он глубоко вздохнул. Редко он бывал в таком напряжении, когда проводил операцию на местности.

Сбоку от фабрики на боковой улочке двое агентов на крыше гаража монтировали микрофон направленного действия. Они целились в поле, как будто из ружья. Микрофон был настолько чувствительным, что способен был поймать даже самый слабый звук в районе фабрики. Если бы в заросли забрался котенок, микрофон зафиксировал бы и это.

За десять минут до старта агенты внимательно прислушались. Один из них доложил по радиации: "По-моему, чисто".

На дальнем краю поля наполовину укрытый диким грецким орехом еще один агент "прочесывал" маршрут прибором ночного видения. Если в поле зрения "снупер-скопа" — "нахального глаза" — попадет человек или зверь, он будет виден ясно, как днем. Агент, обслуживающий прибор, сообщил: "Ничего подозрительного".

Остальные агенты залегли в поле. Они были вооружены и готовы по приказу открыть огонь или ринуться на помощь. За квартал оттуда четверо агентов находились в неброских машинах с радиотелефонами, откуда можно было вести наблюдение или запросить подкрепление.

Зик тихо произнес в микрофон:

— Приступайте к операции, мисс Рэндалл!

Когда Ингрид услышала шепот Зика, она задержалась на мгновение и погладила коту шейку, чтобы он чувствовал себя уверенней. И хотя кот был настороже, наострил уши и настроился на чужие запахи, замурлыкал. Ведь с той поры, как "его" люди были еще маленькими, он ни разу не находился на одном с ними уровне глаз. И не мог припомнить ни единого случая, когда они выходили бы вместе с ним на ночную охоту.

— Ну успокойся, — прошептала Ингрид. Она выпустила его из рук, и он рванулся на поводке, закрепленном у нее на поясе. Он не тащил ее за собой. Еще котенком его научили ходить на поводке рядом. Ему это не нравилось, и он терпеть этого не мог. Теперь, в расцвете лет, он воспринимал это более терпимо, чем в юности. Мужчину делает время.

Распластавшись по земле, она медленно ползла вперед. Выставив перед собой руки, она раздвигала кусты, подтягивала к себе Д.К., затем перекатывалась, как змея. Несмотря на плотную одежду, колючки

проникали внутрь и царапали до крови. С каждым футом двигаться становилось все труднее и труднее.

Она проползла не более двадцати футов, как вдруг не видимый ею Д.К. стал отчаянно сопротивляться. Как она его ни тянула, он упрямо не двигался с места. На мгновение ее охватила паника. Он мог учуять другого кота или, что еще хуже, собаку. Она представила себе, как они глядят друг на друга. В любую секунду мирная Швейцария может стать полем боя.

Она прошептала в микрофон:

— Информатор отказывается двигаться вперед. — Зик проинструктировал ее называть кота "информатором", что было бы смешно, если бы с такой просьбой обратился любой, но не Зик. — Нельзя ли сойти с курса на несколько футов влево и проверить, в чем дело?

— Можно, — ответил Зик.

Она перекатилась влево, по пути задела острый как бритва камень, порезавший ей рубашку и впившийся в тело, и почувствовала, как потекла горячая струйка крови.

Добравшись до Д.К., Ингрид рассердилась — он засунул нос в сусликовую нору.

— В один прекрасный день ты останешься без носа, — пробормотала она. Одной рукой она засыпала вход, обрушив внутрь кучку песка. Д.К. зарычал. Еще тридцать секунд — и он бы поймал суслика. Он бросил на Ингрид такой взгляд, которым бы наградил охотник жену, влезшую на линию прицела, когда утки садятся на землю под выстрел. Стопроцентно уничтожающий взгляд.

Когда Ингрид попыталась успокоить его, он поворчал, но недолго. Он никогда не держал зла. Люди просто ничего не понимают и потому мешают охотиться. А сами-то? На его веку ни одному не удалось поймать суслика.

А после того как он замурлыкал, гнев ее исчез окончательно. Мурлыканье — это поэзия в чистом виде, знак того, что в мире все прекрасно. Часто ей приходило в голову, что человек, обладая интеллектом и владея языком, так и не сумел придумать знак, выражающий полную удовлетворенность.

И снова раздался шепот Зика:

— Откуда шум?

— Это информатор. Он очень близко, у микрофона.

— Звучит, как ураган. — По тону было ясно, что Зик улыбается, а ей сейчас так нужна его улыбка!

Она проделала примерно половину маршрута, когда ей удалось бросить взгляд наверх. Какая-то магнетическая сила заставила ее посмотреть на окно верхнего этажа. В это мгновение она остановилась, чтобы отцепить впившееся в руку перекасти-поле. Девушка тяжело дышала отчасти из-за физического напряжения, отчасти из-за нарастающего страха. Чем ближе она подползала к зданию, тем выше становились шансы на то, что кто-нибудь, не видимый для нее, окажется рядом, выйдя из огромной двери строения, похожего на склад.

Взглядом она сфотографировала мужчину, стоявшего у окна. Ей

показалось, что он смотрит прямо на нее.

Д.К. нежно перебрался с левой на правую руку. Ингрид с тревогой заметила, как закачались растения. Кот тоже встревожился. Стоило Ингрид подтянуть поводок, как кот уткнулся мокрым, холодным носом ей в щеку. Он решил, что я заболела, подумала она.

Ингрид передала по радиации:

— На верхнем этаже у окна стоит человек.

— Не высовывайся, — распорядился Зик. — И не шевелись.

Сердце выскакивало из груди. Не волнуйся, уговаривала она себя. Руки покоились на спине Д.К., который лег, поджав под себя лапки. Можно было подумать, что он тоже услышал команду Зика. Он как бы подтверждал то, в чем она всегда была уверена: между человеком и кошкой есть внутренняя связь.

Лучи от фар грузовика, выворачивавшего с боковой улицы, прорезали кустарник и добрались до нее. Она отчетливо увидела Д.К., как при свете прожектора, а это значило, что человек у окна способен разглядеть их обоих. Она еле сдерживала желание закричать, вскочить и убежать.

С командного пункта Зик передал информацию от Ингрид тому агенту, который сидел с прибором ночного видения, и он опознал в этом человеке Меморандума. Зик сказал:

— Тщательно следите за окнами и предупредите меня сразу же, как появится еще кто-нибудь.

А Ингрид он сообщил:

— Мы полагаем, что личность в окне на нашей стороне и продолжение маршрута безопасно.

На нашей стороне? Если Меморандум заметил ее, будет ли он хранить молчание или попытается использовать информацию себе на благо? Такому информатору доверять до конца нельзя.

Двигаясь еще медленнее, Ингрид собрала всю свою волю в кулак. То и дело она останавливалась и прислушивалась. Ее настороженность, казалось, передалась и коту. Он не отходил далеко и продвигался вперед еще более осмотрительно. Когда они подползли к фабрике, заросли стали редеть. Один лишь раз она рискнула бросить взгляд наверх, но у окон никого не было.

Наконец Ингрид приблизилась к отверстию для золы, находившемуся футах в двадцати от задней двери. Она осмотрела металлический лист площадью в один квадратный фут. Задвижка была несложной, из тех, что опускаются в металлический паз неподвижной пластины. Ее надо было поднять, открыть отверстие и впустить кота. Поскольку отверстие было на два фута выше земли, пришлось приподняться на корточки.

Она прошептала Д.К.:

— Теперь веди себя так, будто ты дома и пошел ловить мышей.

Ингрид глубоко вздохнула, не выпуская из рук Д.К. Он напрягся. Было ясно, что сейчас он ринется куда угодно. Она быстро встала на колени, высвободила правую руку и откинула защелку. Этой же рукой

она с трудом отстегнула висевший на поясе сзади полиэтиленовый мешочек. Пальцы ловко извлекли из него маленькую форель. Таким ходом событий Д.К. был обрадован и, сопя, стал болтать лапкой, тщетно пытаясь схватить форель. Но Ингрид удержала кота и бросила рыбку в отверстие. Рыба шлепнулась на пол за несколько футов. Она задумалась: слишком близко. Зик настоял на использовании приманки, чтобы побудить Д.К. пойти на фабрику.

— Надо, чтобы он дошел до конторы, — объяснял Зик.

Теперь она отстегнула поводок и осторожно посадила кота в отверстие. Помедлила, почесала его, хотя знала, что этого делать нельзя, но ей хотелось успокоить кота и внушить, что все идет хорошо.

Когда она закрыла отверстие, металлическая защелка выпала из рук и ударилась о пластину. Дверь сработала как усилитель звука, стократно увеличивший уровень шума при ударе металла о металл. Упав наземь, Ингрид замерла...

Всего в нескольких футах от нее появилась полоска света. Со стороны двери послышался низкий, приглушенный голос, который, приближаясь, становился громче. Тяжелые мужские шаги топтали жесткую траву. Ей казалось, что они оглушительно грохочут. Кто бы это ни был, источник звука он определил верно. Голос и шум шагов становились все ближе. Она замерла не дыша. Удивительно, но она не потеряла способности трезво размышлять. И вспомнила, как ее инструктировал Зик: при любых обстоятельствах лежать ничком. Не позволять себе вскопичить и бежать.

Она различала два разных сочетания голоса и шагов. Второй набор звуков шел за первым. Луч фонарика шарил справа налево. За долю секунды он пересек ее и пошел дальше. Шаги смолкли. Она сжалась, чтобы защититься от прикосновения чужой ноги и чужого тяжелого тела.

Шаги замерли, и над головой раздался голос:

— Где-то здесь.

— Может быть, пробежало какое-нибудь животное, — предположил второй голос.

— Да нет, не животное. — Кто-то понюхал воздух. — Пахнет не животным. Пахнет человеком. — Он снова понюхал воздух. — Тут побывала какая-то девка.

Сердце Ингрид оборвалось. Духи Пэтти. Она позволила себе чуть-чуть провести пробкой за ушами. Так она делала каждый раз, когда проходила мимо туалетного столика сестры. Ей становилось хорошо и приятно.

Первый голос раздался в нескольких шагах. А вдруг он на нее наступит? Она сжалась еще сильнее. Сжалась так, что стало больно. Долго она не выдержит. Мускулы и нервы придется распустить. Но несколько минут надо продержаться. Всего несколько минут. Не выдержу. Запас прочности всего на несколько секунд. Иначе канат лопнет. Легкие потребовали новой порции воздуха, и независимо от того, что диктовал разум, они сделали вдох. Шум собственного дыхания показался Ингрид ревом водопада. Она заставила себя медленно

сделать глубокий вдох, а затем совершить столь же медленный выдох. Человек, возвышающийся над нею, методично просматривающий местность с помощью фонарика, не мог не услышать. Но он не двинулся с места, не произнес ни слова.

Затем свет от фонарика ушел в сторону, и шаги стали затихать. Сидя и пошел назад той же дорогой. Неожиданным оказался только один звук: вначале мягкое шуршание, затем треск, похожий на пистолетный выстрел, — это наступили на сухую ветку. Луч света рядом с Ингрид погас. Завизжала тяжелая задняя дверь. И все-таки она боялась дохнуть, боялась шевельнуться.

Попав на предприятие, Д.К. произвел рекогносцировку. Подняв переднюю лапу, он осмотрел кучу отбитой штукатурки и осколков кирпича — все, что осталось от давно не используемого мусоросжигателя. Зрачки широко раскрылись, чтобы адаптироваться в полумраке. Вставшие торчком уши зафиксировали громкий шепот и шарканье чьих-то ног, проходящих через дверь. Он не имел ни малейшего понятия, зачем Ингрид запустила его сюда, да он и не рассуждал на эту тему. Он безгранично верил Ингрид. Кроме того, он думал лишь о предстоящем удовольствии. О еде. Д.К. был безумно голоден.

Обрадовавшись, что очутился не на враждебной территории, кот сделал несколько осторожных шагов, затем еще раз произвел рекогносцировку. Почуяв резкий запах свежей рыбы, Д.К. позволил своему носу, коэффициент интеллектуальности которого был весьма высок, безошибочно вывести его на полочку для инструментов, выступающую из стены на несколько футов выше. С полочки свисала форель, та же, а не на полу приземлившаяся, когда ее закинула вовнутрь Ингрид. Он изо всех сил подпрыгнул, но не достал всего несколько дюймов. Попробовал еще раз, затем сделал вывод, что ему недостает ускорения.

И опять услышал шарканье ног. Двигаясь бесшумно, он шел на голос. Разговаривали двое. Они только что поели. Его загипнотизировал запах жареной говядины, любимого его блюда, разумеется, если говядину готовили по правилам. Воздух был теплым. Двигаясь медленно, он осторожно проверил открытую дверь. Пригласил сам себя зайти и заговорил. Он умирает от голода; он уже несколько дней не ел. Как актер, он обладал даром убеждения. Глаза его отражали страдания измученной голодом души. Тон обращения становился выше, затем спал, как бы намекая, что смерть близка. В качестве финального жеста он сел на задние лапы и протянул вялую переднюю, как бы подчеркивая тот факт, что на человечество он не в обиде.

Никакой Барримор не смог бы сыграть луще.

Люди глазели в изумлении. Арти отбросил ногой стул и подпрыгнул. — Уберите его отсюда! — взмолился он дрожащим голосом. — Когда я в последний раз увидел черного кота, я сломал ногу.

Меморандум встал на корточки. На расстоянии нескольких футов Д.К. разглядывал его критическим взором оценщика подержанных автомобилей. Позы он не менял. Психологически лучше ждать, пока они к тебе подойдут сами. Меморандум так и сделал.

— Громы и молнии, как он сюда попал? — спросил Арти.

Меморандум взял в руки протянутую лапу.

— Вот это да! Он умеет здороваться за руку. Никогда в жизни не видел здоровающегося за руку кота!

Д.К. прошелся носом по ладони Меморандума, будто изучал меню.

— Проголодался, парень? — Меморандум подошел к маленькому холодильнику, стоявшему на длинном столе, и вынул оттуда пластмассовый пакет, из которого извлек несколько кусочков жареного мяса. Закрывая кота спиной от Арти, он лихорадочно пошарил пальцами в ошейнике.

Арти шагнул к ним.

— Ты что с ним делаешь?

Меморандум взял кота за лапу.

— Гляди, как здорово! — Он с восторгом смотрел на гостя.

— А чего вдруг перепугался? — спросил Арти.

Меморандум проглотил ком в горле, быстро бросил взгляд в сторону и положил ломтик мяса на газету. Д.К. опустил лапу. Вежливость в мире людей высоко ценится. Он ел медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Мясо было розовым и сочным, как раз таким, какое ему нравилось. Расправившись с первой порцией, кот вежливо попросил добавки.

Все это время Арти не отрывал от них глаз.

— Никогда не видел такого большого. Моим собакам он понравится. Надо бы достать такой кошачий домик и отвезти кота домой им в подарок. — И грубо расхохотался. — Гостинчик из поездки. Как мне папа привозил, когда возвращался домой.

Меморандум весь сжался.

— Он домашний.

— Откуда он пришел, там таких много.

Все еще спиной к Арти Меморандум сидел на полу с мясом и ножом. Он разрезал мясо на кусочки и кормил кота с руки понемногу, чтобы растянуть время. Ему удалось развернуть записку, где говорилось: "ДЕРЖИТЕ НАС В КУРСЕ ДЕЛА, ПАХНЕТ ОРУЖИЕМ, РАЗГОВОР ПОДСЛУШАЛИ И Т.Д., КАК ТОЛЬКО УЗНАЕТЕ, СООБЩИТЕ ДАТУ ДОСТАВКИ КАМНЕЙ. КОТА ВЫПУСТИТЕ. ЗИК".

— Ему придется поголодать, — произнес Арти. — Такого котяру собаки поймают, не успеет он отбежать и десяты футов.

Арти включил радио. Шла его любимая программа новостей.

Продолжая кормить Д.К., Меморандум царапал ответ на обороте полученной записки. Писал он безумно медленно. Приходилось вырисовывать маленькие букочки.

Он даже не сообразил, что кот уходит. Меморандум тут же бросился за ним, но споткнулся о подставленную ногу. Арти рассмеялся:

— Слушай, ты, негр с плантации, — руки прочь от моего кота!

Меморандум встал. Он говорил не думая, иначе никогда бы этого не сказал.

— Это не твой кот, и собакам он не достанется.

Значит, если не думать, можно постоять за себя?

Арти больше не смеялся. Меморандум даже подумал, что он сейчас

его убьет. Он увидел, как тот схватился за револьвер. У него перехватило дыхание.

— Так тебе, значит, нравится этот кот?

Меморандум заставил себя кивнуть.

Арти продолжал:

— Сюда приходит незнакомая помойная тварь, и вы уже друзья-товарищи. — И щелкнул пальцами.

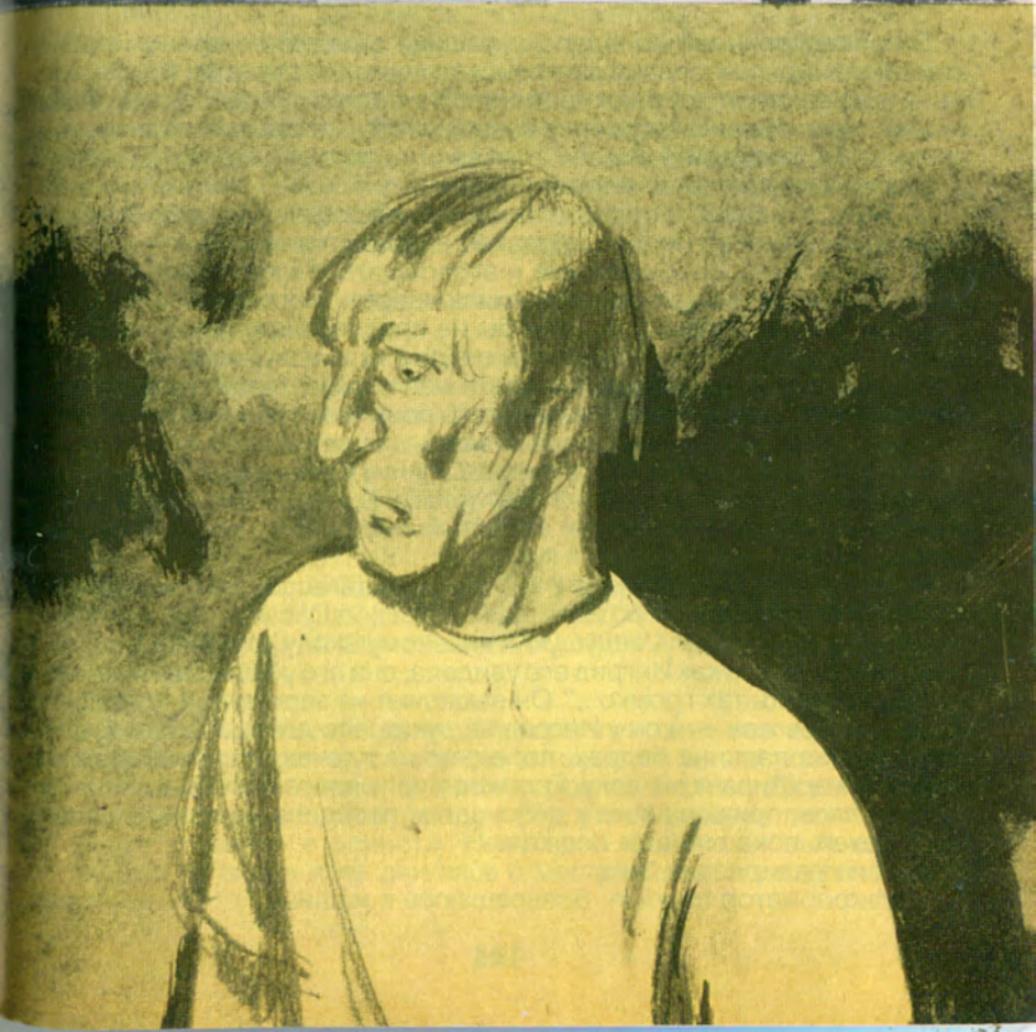
В глазах Меморандума появился испуг. А Арти не мог остановиться: — Интересно, как он сюда попал?

И вдруг пожал плечами и вышел.

Внезапно Меморандуму стало лучше. Он вступил в схватку лицом к лицу и выстоял. Значит, он размышлял не зря. Размышлял много часов, в основном по ночам, когда не мог уснуть. Если ему удастся выйти из этой переделки живым, он найдет другую работу. Такую, где его оценят. Может быть, он не умеет говорить с апломбом, как другие парни, но он знает множество малорослых мужчин, которых уважают за мастерство. И еще есть на свете Мария. Он увидится с нею, и, может быть, они начнут все сначала. Хочется взглянуть на мальчика. Ему уже должно быть семь лет. Смешливый мальчуган, сообразительный. Меморандум вспомнил, как сел вместе с ним на пол и играл с гоночными автомобилями и грузовиками. А потом услышал, как мальчик говорит Марии: "Мне этот дядька нравится". Так хорошо вернуть жену и сына. Вспоминая, он понял, что у них с Марией никогда не было неразрешимых проблем, было лишь множество мелких недоразумений, отравляющих жизнь, таких, как в любой семье. Она все время пилила его: "Заставь себя уважать!". Она права, надо попробовать. Гигантом он не станет, но и мышью больше не будет.

Он будет проводить больше времени с Марией. В этом тоже была одна из причин размовки. Чтобы не слышать ее нытья, он искал убежища в работе. Не то, чтобы он любил работу пуще всего на свете. Так уж получилось. Ничто не доставляло ему такой радости, как взять в руки бриллиант или один из "цветных камушков". Сверкающий огонь рубина, красота почти совершенного изумруда или сапфира заставляли его трепетать от счастья. Они давали ему такое же ощущение, как некоторым его друзьям живопись или музыка. Почему, он не понимал. Цена ему была безразлична. Он мог прийти в большой восторг от крошечного камня, чем от "крупного товара", быть может, потому, что сам был мал и незначителен и подсознательно проводил параллель между собой и таким камешком. По ночам любил класть руку на старый абразивный круг, которым гранил алмазы, как будто прощался с другом. По утрам любил приходить в мастерскую и вдыхать запах оливкового масла, употребляемого в смеси с алмазным порошком для подготовки круга.

У него в жизни было единственное желание: чтобы в один прекрасный день он получил от лондонской фирмы "Сент-Эндрюс" приглашение на "показ", когда синдикат "Де Бирс" выставляет камни на продажу. Но этого никогда не будет. Добыть приглашение фирмы "Сент-Эндрюс" в сто раз труднее, чем от сент-джеймского двора, из



резиденции английских королей. Однако почему бы и не пометать...

Он взял Д.К. на руки и понес к парадной двери, ухитрившись просунуть в ошейник записку. Он чувствовал, что Арти идет за ними следом.

Обнаружив, что дверь заперта на засов и задвижку, Меморандум стал нервно озираться. В своих мечтаниях он позабыл, что Арти закрыл все входы и выходы. Он опустил фонарик, но и этого света было достаточно, чтобы разглядеть злорадную улыбку на лице Арти.

С полуоткрытым ртом Арти выудил цепочку с двумя десятками ключей. Перебрав их, нашел тот, который открывал засов этой двери.

Аккуратно, будто кот — это хрупкая посуда, Меморандум поставил кота на землю. Он даже почесал его, как бы приглашая заглянуть еще разок.

Д.К. рванулся в заросли. Скрывшись из виду, он замер. Он проследил, как Меморандум закрывает дверь и уносит с собой свет. Облинулся. Надо запомнить это место. В других не дают жареного мяса.

Куда же пропала Ингрид?

В припаркованной неподалеку машине с радиотелефоном наблюдатель с биноклем следил за происходящим. Он передал по радиации:

— Информатор Х-14 выходит через переднюю дверь. Бежит в кустарник. Неопознанный мужчина возвращается на фабрику и закрывает дверь. Х-14 больше не виден.

Зик вздохнул с облегчением.

— Мисс Рэндалл, — прошептал он в микрофон, — мисс Рэндалл, информатор вышел через переднюю дверь и прячется в кустах. Просьба забрать его, сообщить мне и возвращаться к своей машине.

Он еще не кончил, а она двинулась вперед. Ноги сами несли ее от радости. Она бы побежала, если бы не предупреждение Зика. Все то время, что ждала, лежа на конце поля, она едва сдерживала слезы. Ей мерещились всякие ужасы. Он такой маленький, такой беззащитный. За ним нужен глаз и глаз. Она так часто ленилась покормить его, когда он являлся на обед, и забывала ставить для него воду. А иногда она даже не находила времени поговорить с ним, когда он специально шел к ней за этим. Больше такое не повторится. Она и раньше давала себе слово, но бездумно забывала. Теперь так не будет. Твердо и определенно.

Взяв себя в руки, Ингрид размеренно двигалась по тротуару. Ей хотелось сойти за местную жительницу, вышедшую на прогулку. Когда повернула на дорожку, ведущую к главному входу фабрики, она тихо свистнула. До того как Ингрид его увидела, она его услышала. "Не надо, не надо мяукать так громко..." Он выскочил из зарослей и понесся по тротуару. Прыжок — и он у Ингрид на руках, все двадцать пять фунтов веса, задние лапы на бедрах, передние на плечах. Жесткий язык как наждаком протирает ей щеку. Громкое мурлыканье. От облегчения она рассмеялась, прижала кота к себе, затем посадила на левое плечо, и так он ехал, пока она шла пешком.

Ингрид радировала Зику:

— Информатор прибыл. Возвращаюсь к машине.

Она прибавила шагу и чуть не упала, споткнувшись о стоявшие на тротуаре скейтборды и налетев на дорожную машину из Санта-Фе. Прошла мимо лимонадного киоска, где порция любого напитка стоит пять центов.

Увидев припаркованную машину, она побежала. Зик открыл дверцу машины:

— Ты в порядке?

Ингрид кивнула и улыбнулась.

— У меня все получилось о'кей?

— Ты была великолепна, просто великолепна.

Она сняла с кота ошейник и надела старый.

— Когда у тебя будет время, я тебе кое-что расскажу.

Зик механически кивнул. С помощью точечного фонарика он читал извлеченную из ошейника записку Меморандума. Было видно, что он ошарашен ее содержанием.

— Зик, — обратилась она.

— Секундочку. — Он еще раз прочел записку. — Да?

Она чуть не обиделась. Он даже не замечает ее присутствия.

— Зик, я не люблю передавать, кто что сказал, но ты должен знать. Я обязана тебя предупредить. Пэтти вечером видела тебя в ресторане с девушкой. И видела, что ты от нее прятался. Она пришла домой в слезах. Я никогда, никогда не видела, чтобы она так плакала после того, как умерла мама. Она собирается расторгнуть помолвку... и, Зик, я хочу, чтобы ее мужем был ты. Очень хочу, чтобы это был ты.

Зик с недоверием глядел на Ингрид.

— Не может быть!

— Она сказала, что эта девушка обжималась с тобой и всячески проявляла свою любовь.

Он глядел на Ингрид разинув рот, а потом сказал:

— Проявляла, но ей нельзя было мешать. Она информатор, и я обязан был с нею встретиться. Меньше всего я хотел идти на эту беседу. Как только я закончу дело, я объяснюсь с Пэтти.

Он дал ей прочесть записку. Она гласила: "ОНИ ПЛАНИРУЮТ УБИТЬ КОГО-ТО ПО ИМЕНИ ШЕРЛИ И МЕНЯ, КАК ТОЛЬКО Я ПЕРЕСАЖУ КАМНИ. У АРТИ 45 КАЛИБР, СТОРОЖ НЕ ВООРУЖЕН. НОЧЬЮ ТЕРРИТОРИЮ НЕ ОБХОДЯТ. СПЛЮ С ОДИННАДЦАТИ ДО СЕМИ В ОДНОЙ КОМНАТЕ С АРТИ. АРТИ УЖЕ ТРЕНИРОВАЛСЯ В СТРЕЛЬБЕ. ПРИШЛИТЕ КОТА КАК МОЖНО СКОРЕЕ. ПРЕДУПРЕДИТЕ, ЧТО СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ СО МНОЙ. НЕ ЖЕЛАЮ УМИРАТЬ ЗА ФБР ИЛИ КОГО БЫ ТО НИ БЫЛО".

Дюваль и Арти полагали, что Меморандум спит мертвым сном. Он же медленно спустился с постели, замирая на месте после каждого шага, пробрался к двери. И здесь раздался скрип... Дюваль и Арти подошли к двери. Но Меморандум уже успел лечь на пол и, онемев от ужаса, скрылся в темноте. Некоторое время они выжидали, не произнося ни слова и не двигаясь с места, желая определить источник звука.

Когда они вернулись в конторское помещение, Меморандум, подошёл к ящерице, подполз под раскрытое окошко. Там все было слышно. Дюваль сказал:

— Я хочу, мистер Ричфилд, чтобы вы усвоили раз и навсегда: исполнение вашего плана откладывается до того момента, когда этот человек обработает товар. Ясно?

— Ага.

Дюваль взорвался:

— Мне не нравится ваш тон. Если вы не подчинитесь приказу...

— То мне ни шиша не заплатят? — Последовала продолжительная пауза, затем Арти произнес угрожающим тоном: — Слушайте, Мак, платить придется независимо от того, когда я выполню заказ. Одно тело — пять штук. А что еще за работа?

— Молодая женщина, Шерли... фамилия для вас не играет роли. Когда настанет время, сообщу вам, где ее найти.

— За девок скидки не бывает. Те же пять штук.

— Прекрасно. Полагаю, что мы понимаем друг друга. Надеюсь, что это так. Самодетельности я не потерплю. — И добавил: — Хотелось бы настоятельно рекомендовать вам, мой дорогой друг, называть женщину женщиной.

Арти рассмеялся.

— Ладно, будет по-вашему. Только не давите, Мак. У меня осечек не бывает. В прошлом году четыре дела — четыре тела.

Меморандума охватила такая сильная дрожь, что он побоялся, что его услышат. Он хотел ринуться к двери и разбить ее кулаками.

17

Сидя за столом под жаркими лучами потолочных светильников, Зик набирал номер. Он вынужден был пересилить себя, направляя указательный палец в диск. Голова болталась, как шар кегельбана, и с каждой цифрой копился рабский страх.

"ОНИ ПЛАНИРУЮТ УБИТЬ КОГО-ТО ПО ИМЕНИ ШЕРЛИ... ОНИ ПЛАНИРУЮТ УБИТЬ КОГО-ТО ПО ИМЕНИ ШЕРЛИ".

Издали плыл сонный голос девушки.

— Мисс Хатчинсон?

Она с некоторым сомнением подтвердила, что у телефона именно она, и вдруг радостно проснулась.

— Зик! — воскликнула она. И вспомнила, что надо сделать обиженный вид. — Я не должна была бы разговаривать с вами. Вы плохо вели себя со мной. Честно, не было никаких нежностей... но вы...

— Простите меня. Приношу свои извинения. — Тон был сугубо деловым.

— Вы такой милый, когда пытаетесь плохо вести себя.

— Мне нужно увидеться с вами немедленно.

— Где?

— У вас дома. И, мисс Хатчинсон...

— Шерли.

— Приду черным ходом. Объясню по приезду. Постучу четыре раза. И еще: просьба не зажигать света.

Кухня у нее стандартная, затененная гигантским вязом. Если он проскочит быстро, никто не заметит, в какую дверь он вошел. Он пройдет наперерез, мимо гаражей.

Зик добавил:

— Буду примерно через полчаса.

— А я приготовлю выпить.

— Не надо, мисс Хатчинсон, то есть, Шерли, прошу...

Она повесила трубку. Он вытащил огромный мужской платок и отер пот с лица. Вечер был жарким, но не до такой степени. Полчаса назад он поднял с кровати начальника управления. И Зик с Ньютоном поняли, что неверно сочли жертвой именно Меморандума, когда Шерли Хатчинсон первой сообщила о Дювале и разговоре по телефону. Теперь-то до них дошло, что Шерли подслушала обрывки разговора, где обсуждали план ее убийства.

За два квартала от дома Шерли он связался с Плимпertonом, заранее проверившим территорию и доложившим об отсутствии посторонних лиц, которые потенциально могли бы вести наблюдение за квартирой Шерли Хатчинсон. Плимпerton сказал:

— Вы храбрый человек, раз рискуете встретиться с этой женщиной наедине. Но служба в Бюро требует жертв.

Зику было не до шуток. Он быстро зашагал по тротуару через новый район, естественным образом влившийся в старый. Перешел улицу, не обращая внимания на транспорт. У него была одна цель: разработать план совместия с мисс Хатчинсон, а затем поехать прямо к Рэндаллам.

Поровнявшись с домом, он зашагал деловым шагом, не слишком быстро, не слишком медленно, под окна кухонь, стараясь не налететь на мусорный ящик. Когда он отстучал сигнал, дверь распахнулась с укоризненным поскрипыванием. Зик быстро затворил ее за собой.

Моментально его обволокла темнота. В тяжелом, горячем воздухе стоял запах экзотических духов. Из гостиной доносились звуки вальса Штрауса.

— Я здесь. — Тон был преднамеренно-интимный. Зик шел на побрякивание кубиков льда и увидел у кухонного окна смутный силуэт. Он спиной оперся о дверь, через которую вошел, ибо нуждался в точке опоры.

— Я не будил бы вас, если бы не срочность.

— Будите меня в любое время. Шотландское виски вас устроит?

— Нет, спасибо. Мой визит чисто деловой. — Он говорил загадками. У него не было ни малейшего желания пустить этот необычный визит на самотек. — Боюсь, что придется назвать вещи своими именами. Не собираюсь пугать вас, но предупредить вас я обязан. Сегодня вечером к нам поступила информация, что Филипп Дюваль нанял профессионального убийцу, чтобы разделаться с вами. Нет нужды говорить, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить вас; и для того, чтобы разработать меры защиты, я и пришел сюда.

Звон льда смолк, и Шерли шумно задышала.

— Он этого не сделает. — Она уговаривала себя, как маленькая. Зачем ему это делать?

— Именно это и хотелось бы от вас узнать.

Она поставила стакан на кафель плиты.

— Он меня не тронет. Он так добр ко мне.

— В процессе своей профессиональной деятельности я извлек для себя урок, — произнес Зик. — Множество людей добры к ближним, если это им ничего не стоит. А вы стоите триста тысяч долларов. Итак, мисс Хатчинсон? Итак?

— Мне надо закурить.

Он зажег спичку, и Шерли постарела прямо на глазах. Он подумал, что не все женщины хорошо выглядят, когда перестают улыбаться.

— Вы побудете со мной, правда?

— Итак, мисс Хатчинсон, мой вопрос таков: как случилось, что вы перебежали ему дорогу?

Она глубоко затагнулась.

— Поймите меня правильно. Мне стало страшно. Я не собираюсь вешаться вам на шею. Честно, Зик. Поверьте мне. Вы ведь мне верите?

— Хотелось бы.

Кончик сигареты двигался, как светлячок. Она медленно произнесла:

— Он попросил меня составить инвентарную опись коллекции Готорна, и когда мне показалось, что он переплачивает, я ему сказала об этом. А он сказал, что я ошибаюсь. Мне надо было промолчать, но вместо этого, когда я напечатала опись, рядом с его оценками я поставила по каждой позиции свою. Он поблагодарил меня, но заметил, что у него уже есть рынок сбыта и он знает, что делает.

Она тяжело вздохнула.

— А вчера ночью я проснулась, и до меня дошло, зачем ему нужна коллекция. У него действительно есть рынок. Страховая компания. Он собирается ограбить сам себя, и ему известно, что я пойму, в чем дело, когда это произойдет.

Зик не произнес ни слова, и тогда она спросила:

— Почему вы молчите?

— Думаю, как поступить с вами. Мы могли бы посадить вас на самолет и отправить к матери в Сиэтл. Или поместить вас в каком-нибудь мотеле. Но вас бы это не спасло. Если вы исчезнете, Дюваль отложит осуществление операции, пока его человек не разыщет вас.

— Прекрасный у меня выбор!

— Вы можете заболеть и остаться дома. Он, конечно, заподозрит неладное, попытается до вас добраться, но мы посадим на кухне двоих агентов, которые будут нести круглосуточное дежурство.

— Как скажете, Зик.

— Я не могу ничего рекомендовать. Не уполномочен.

— Но если я не выйду на работу, вы не будете знать, когда придет коллекция, а вы сказали, что от точной информации зависит человеческая жизнь. Верно?

Зик нервно заерзал.

— Не хотел бы давать определенный ответ. Можете не принимать мои рассуждения во внимание.

Она рассуждала вслух:

— Я могу что-нибудь услышать. Кроме того, в салоне он мне ничего не сделает.

— Не будьте самоуверенны. Вас могут убить при инсценировке ограбления.

— Но у нас есть Дэн. Он не только швейцар, он и охранник.

Зик кивнул.

— Мы уже проверили его. С ним все в порядке. Он работал со своим отцом в штате Огайо. Папа у него — сержант полиции.

— Тогда все в порядке, — твердо сказала она, загасив сигарету. — Попросите Дэна подстраховать меня, пока я на работе, а потом вы здесь...

— Мы посадим сюда двух агентов, которые день и ночь не спуская с вас глаз.

— Но мне нужны вы. Я хочу, чтобы со мной были вы, Зик. Мне нужен человек, которого я знаю. Которому я доверяю.

— Как только я вам буду нужен, звоните, и я приеду. Но прошу больше не проявлять самостоятельности, как сегодня.

Она подошла к нему.

— Никто еще меня не отчитывал так сладко, как вы.

Он вцепился в ручку двери, будто в этот критический момент она могла отказать.

— Я пришлю двоих.

От спешки он чуть не споткнулся и не вывалился из двери.

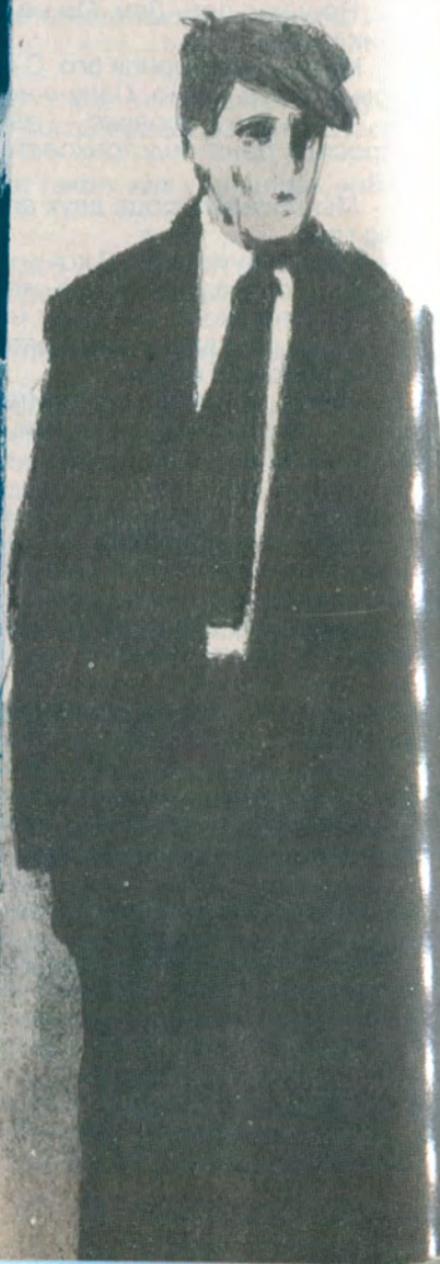
На углу ему пришлось постоять, чтобы привести нервы в порядок. Он никогда не умел обращаться с женщинами, даже с бесхитростными, а уж тем более с такими, как Шерли Хатчинсон. Он молил Бога, чтобы тот научил, как это делается. Есть такие ребята, которые за словом в карман не лезут. Может быть, всему виной то, что он слишком долго жил один на ранчо. Может быть, просто не все мужчины это умеют. Дело не в том, что он боится женщин или стесняется, но они для него чужие, вроде китайцев, чей образ мыслей иной в силу иного наследия и обычаев. Их реакция алогична... Зик решил, что этот вопрос надо изучить получше, глубоко вздохнул и двинулся вперед.

Справился он неплохо. Сказал, что требуется, и ушел живым и невредимым, а это уже кое-что.

18

Без особого шума Зик подъехал к дому Рэндаллов. Он плавно нажал на тормоз, а затем посидел немного, репетируя свои реплики. Он попробовал перефразировать пару заготовленных предложений, понимая, что объясняться с Пэтти ненужно и незачем. Если она ему до такой степени не доверяет... что ж, тогда нельзя углубляться в эту проблему. Он не имеет права давать волю раздражению.

Дело-то выеденного яйца не стоит. Он повел информатора на обед.



Правда, он слегка исказит истину. Он не собирается признаваться в том, что счет оплатил информатор. Об этом он не сказал даже Ньютону. Затем информатор поехал домой на своей машине, а он на своей — прямо на фабрику. А спрятался он, когда появилась Пэтти, потому, что опасался, что Пэтти назовет его по имени и тем самым поставит под угрозу ход расследования.

Что ж, пора двигаться. Четыре часа утра. Он вылез из машины и прикрыл дверцу, не потрудившись ее захлопнуть. Ночь была поразительно тихой. Даже кошки не бегали. Зик бросил взгляд на дом Макдугаллов и с облегчением заметил, что свет не горит. А он готов был поклониться, что миссис Макдугалл обслуживала этот аванпост сплетен и слухов круглые сутки.

Он убавил шаг и чуть не споткнулся. Привязанный к апельсиновому дереву козел подозрительно посмотрел на него. Он замер на мгновение, потом вспомнил про устроенную Ингрид вечеринку с "козлом отпущения".

Обходя перегородившего дорогу козла, он решил, что дело сделано, хотя козел, пострадавший от несправедливостей и насмешек со стороны визжащего от восторга человечества, пускать его не собирался. Он сказал козлу "Т-сс!", но понял, как глупо это выглядит. И тут козел подал голос, прорезавший тишину ночи, и нервы Зика, и без того напряженные, задергались, как под током.

Он еще шел по дорожке, как отворилась дверь и появилась Пэтти, блистательная, светлая мечта в кружевной ночной рубашке с волосами, призывно зачесанными набок.

— Я знаю, что уже страшно поздно, — начал он, после чего замер, когда на него пахнуло ледяным холодом. — Мне надо было с тобой увидеться. — Голос его треснул. — Между нами не должно быть недоразумений.

Она говорила так тихо, что он едва ее слышал.

— Думаю, что будет лучше, если мы воздержимся от разговора.

Пэтти стояла, заслоняя вход.

— Мне хотя бы можно войти? — спросил он.

— Мы провели прекрасный год, и я желаю запомнить тебя таким, каким ты был.

— Прямо надгробное слово.

— Не хочу резкостей. Между нами их никогда не было.

— Я находился с информатором. Будничная, тяжелая работа.

— Прекрасная работа.

Козел опять подал голос, и Зик раздраженно спросил:

— Нельзя ли заткнуть этого козла? Он перебудит всю округу.

— Полагаю, его комментарий соответствует по духу предмету нашего разговора.

— Пэтти, прошу, поговорим, как два разумных человека, любящих друг друга.

— Любивших. Неправильное употребление времен.

Тут из-за спины Пэтти вылез Д.К., желая лично выяснить, что происходит в столь поздний час. Он сел и зевнул. Опять этот! Ему было так хорошо, пока не возник этот кретин. Он еще раз зевнул. Можно пойти

погулять. Можно оставить Пэтти и использовать свободное время по своему усмотрению, пока она не одна. Однако кот не ушел, а стал вычищать из шерсти колючки и с шумом выплевывать их. Окончив эту процедуру, он радостно сел.

Зик продолжал:

— Она передавала мне информацию. Поверь, Пэтти, у меня не было выбора.

— Я не собираюсь обсуждать эту тему. — Не удержалась и добавила: — Нечего было прятаться.

Зик чихнул. Вот чертов кот!

— Я боялся... а, черт!.. Боялся, что ты меня увидишь после того, как я вынужден был отменить свидание, что ты не так подумаешь. Я люблю тебя, Пэтти. Я люблю тебя до боли.

— Не заметила, чтобы ты сопротивлялся, когда она обжималась к тебе.

— Я не мог сопротивляться. Нельзя раздражать информатора, если ждешь от него помощи, хотя я потом отчитал ее. Я попросил ее открытым текстом, чтобы она воздержалась от телячьих нежностей. — Зик тут же пожалел, что употребил это выражение: при сложившихся обстоятельствах этого делать не стоило.

— Значит, ты признаешь, что были "телячьи нежности"?

— Я не думал...

— А я не верю, чтобы женщина позволила себе, как ты деликатно выразился, "телячьи нежности", если у нее нет оснований полагать, что ее ухаживания будут благосклонно приняты. Может быть, так ведет себя в Парампе, но не здесь.

— Говорю тебе, мы встречались по работе.

— Интересная работа.

Д.К. высказался, выплюнув очередную колючку.

Зик опять чихнул.

— Этот кот... нельзя ли...

— У него столько же прав находиться здесь, как и у тебя. Даже по-моему, больше. Значительно больше.

Козел выразил свое согласие.

— Прошу, — умолял Зик. — Я не могу стоять тут и разговаривать. Эта старая карга уже, наверное, направила антенны.

Направила. Миссис Макдугалл неоднократно уведомляла Уилберга, что разум ее всегда на страже. И ночью, и днем он принимал "импульсы". Он работал интенсивнее, чем тело.

— В этом доме нет ни одной вещи, которая бы изнашивалась от того, что я ею пользуюсь, — любила она хвастаться, как правило впустую, выключенному слуховому аппарату. Уилбер был хитер, так что она никогда не знала, включен аппарат или выключен. Обычно он время от времени хмыкал, что могло сойти и за положительный, и за отрицательный ответ на ее заявления.

В эту ночь мягкий, приглушенный шелест шин сразу же стал для нее "импульсом", и она тут же встала. Зик еще не вышел из машины, а она

уже была у окна. Вел он себя странно. Ей было слышно, что он лишь чуть-чуть прикрыл дверцу. И так испугался, услышав "Ме-э!" козла. Рука ее по привычке потянулась к старому, изношенному халату цвета помоев, висевшему наготове на спинке стула. Как у пожарного, все было под рукой: тапочки, темный платок на голову, фонарик, садовая лопаточка, которую она пустит в ход, если ее застанут, грелка для рук на батарееках.

Крадучись, миссис Макдугалл вышла в ночь, согнувшись в три погребели. Бесшумно пробралась к розовым кустам, как старый индеец-разведчик, и заняла заранее подготовленную позицию. Она натренировалась не двигать ни единым мускулом, когда выходила на дело. Ее захлестнуло счастье. Было отчетливо слышно каждое слово.

Когда она узнала, что Зик погуливает, она испугалась, что кровяное давление у нее подскочит до опасного предела. Доктор предупреждал, что ей нельзя волноваться. Но даже под страхом смерти она не могла покинуть свой пост.

Она, конечно, заранее знала, что мистер Келсо никуда не годится. Такие, как он, ни на что не годны. Сразу видно. Интересно, знает ли мистер Гувер, что его сотрудник бегает за женщинами легкого поведения. Кто-то должен сообщить об этом мистеру Гуверу. А кто информирован лучше, чем она? И она стала составлять в уме текст письма.

В сопровождении полного набора звуковых эффектов Д.К. вынул еще одну колючку. В этот момент из-за спины Зика из кустарника вылез Приблудный Кот. Д.К. прищурил глаза и устоял на прищельца. Если этот пискун-визгун встанет хотя бы одной лапой на ступеньки парадного входа, он готов сшибить его оттуда. Это настроение каким-то образом передалось П.К., который встал на трещине поперек пешеходной дорожки, игравшей роль демаркационной линии, границы столь прочной и нерушимой, как если бы ее установила Организация Объединенных Наций.

Козел, видя благодарную аудиторию, опять подал голос. И Зику стало не по себе. Он почувствовал, что попал в окружение.

Пэтти холодно заявила:

— Прошу меня извинить, но завтра у меня трудный день.

— Ты не знаешь, что ты со мной делаешь, — взмолился Зик. — Ты — вся моя жизнь.

Ингрид застала их врасплох.

— Слушай, сестренка, пускай он войдет. — На ней была отцовская пижама, и двигалась она с трудом.

— Мы в школе проходим курс человеческих взаимоотношений, и там говорится, что первый принцип умения находить общий язык с людьми — это контакт. Следует сесть и внимательно выслушать другую сторону, попытаться встать на место собеседника. Затем...

— Хватит! — вспыхнула Пэтти. — Если хочешь вступить в контакт, контактируй с ним. Что касается меня, то у меня нет ни малейшего желания обсуждать что бы то ни было с мистером Келсо. Спокойной ночи!

Она сгребла ничего не подозревающего Д.К. и надменно двинулась в дом. Ингрид умудрилась прошествовать в пижаме прямо к двери.

— Извини, Зик, но завтра мы с нею поговорим, как две подружки, и все будет в порядке. Не беспокойся.

У него горло перехватило, а у нее сердце выпрыгнуло из груди. Она медленно затворила дверь. Какой он милый, подумала она. Как можно быть с ним такой жестокой, не впустить и не выслушать? И ясно как божий день всем, кто не ослеп или не хочет видеть, что он абсолютно не **хотел** обедать с этой ужасной женщиной.

Если бы была жива мама! Уж она-то знала бы, как справиться с ситуацией.

19

Как только Зик уехал, миссис Макдугалл тихо вернулась в дом. Дышала она тяжело. В кои-то веки выдастся такая ночь! В кои-то веки узнаешь такие новости!

На кухне она налила стакан сока. Сердце все еще отчаянно билось. Не добавить ли капельку в сугубо медицинских целях? Обычно она никогда не притрагивалась к **этому** и сурово выговаривала Уилберу, когда заставляла его за **этим**. Но одно дело "употреблять" ради удовлетворения животных инстинктов мужчины, а у Уилбера их было с избытком, другое — принять капельку, когда находишься между жизнью и смертью. Когда она взбалтывала бутылку, рука дрогнула, и в сок вылилось гораздо больше виски, чем она рассчитывала. Но неважно. Миссис Макдугалл любила повторять: "Немножко — хорошо, больше — еще лучше".

Она опрокинула полстакана и вдруг услышала странное журчание. Вначале она подумала, что это из-за высокого давления. Вот до чего дошло! Прислушавшись, она, однако, установила, что источник звука находится прямо под ней. Ее охватил невыразимый ужас. Значит, она перебрала!

Журчание, однако, продолжалось и шло вовсе не оттуда, откуда она думала. Доковыляв до входа в нижний этаж, она чуть-чуть приоткрыла дверь, боясь, очевидно, что испугнет слона. Журчание стало громче. Она направила фонарик в сторону звука и мигом пришла в себя. Матерью божья, под лучом света разливался целый океан. Волны бились почти что у ее ног, а сверху плавало что-то похожее на змею.

Захлопнув дверь, она прижала ее всем телом и стиснула зубы. Нет, она не напилась допьяна. Ничего подобного!

С той же решимостью, с какой вступала в битву с превратностями судьбы, она распахнула дверь. И опять услышала исходящее из глубины журчание. Смертный такого вынести не может. Она закричала. Но крик ее никого не подвигнул на помощь. Диким рывком, в развевающемся, как парус, халате она ринулась в спальню. Схватив с ночного столика звуковой аппарат Уилбера, она засунула его в правое ухо мужа, повернула звук на полную мощность и заорала. Он выпрыгнул из кровати с такой скоростью, с какой не прыгал ни один мужчина за всю историю

человечества. В течение секунды он шатался из стороны в сторону, как пьяный, и тупо смотрел на жену.

— Уилбер! — вопила она. — Уилбер! — сбросила с себя на пол халат и рубашку, чтобы одеться для улицы. — Одевайся! Наводнение! Мы все утонем во сне, спаси нас Господь!

Забыв, что представляет собой массу бесформенной, колышущейся неприкрытой плоти, она подала ему туфли.

Держа штаны в одной руке, а туфли — под мышкой, он засопел.

— Заткнись, — рявкнул он, — и ложись спать. Тебе снятся кошмары. Где ты видишь пожар?

— Наводнение! — проорала она прямо в ухо. — Наводнение.

— Где? Где? — засомневался он.

Тут она поволокла мужа за собой. На кухне распахнула дверь в подвал и сделала драматический жест. Он посмотрел в направлении театрально выброшенной вперед руки, потом зажмурил глаза и снова раскрыл. К этому времени шум воды напоминал гейзер в Йеллоустонском национальном парке.

— Наверное, трубу прорвало, — сказал он. — Делать нечего, надо вызвать водопроводчика. — Он пошел к телефону. — Вот незадача! Целый ящик виски — в канализацию!

— Зато не через твой желудок! — тут же отреагировала она.

Он оглянулся и только тогда заметил, в каком она виде.

— Сейчас же оденься! — распорядился он. — Увидишь такое и тут же умрешь от разрыва сердца.

Будильник поднял Грега в пять утра. Он встал рано, чтобы подготовиться к важному заседанию в суде.

В уличное окно врвался глухой шум. Через дорогу стоял грузовик, откачивавший воду из подвала Макдугаллов.

С необычной для него быстротой Грег оделся, перешел улицу и направился к дому Рэндаллов. Бросил беглый взгляд на жующего траву козла. Ничего удивительного. Эти экстравагантные выходки типичны для Рэндаллов. Когда они еще встречались с Пэтти, он предупреждал ее, что если она будет позволять семье вести себя столь нонконформистски, они неизбежно заработают репутацию эксцентрично ведущих себя людей. Он сказал это для ее же блага. Но есть люди, отвергающие добрые советы. Ей нужен муж-руководитель, твердый, как Гибралтарская скала. Такой, как он.

Грег обогнул дом и прошел на задний двор. Перелез через запертую калитку. С такой легкостью, что ему сразу стало хорошо на сердце. Вот результат ежедневных физических упражнений по утрам! Двадцать отжатий на локтях, десять подтягиваний на перекладине и тридцать приседаний. Если человек заботится о своем теле, то тело само позаботится о человеке. Это евангелие здоровья, увы, не слишком популярно в наши дни, когда люди ропщут, что им приходится ставить машину за три квартала от магазина.

Он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. На заборе из бетонных блоков сидел Д.К., полный ненависти и презрения. Грег на-

гнулся, чтобы поднять камень. Когда-то он был метким стрелком.

Он прицелился за доли секунды, и тут произошло невероятное. На глазах у Грега кот исчез. Двумя прыжками Грег подскочил к забору и заглянул вниз. Кот растворился.

Двигаясь к водоразборному крану, находившемуся под окном спальни Пэтти в темном углу двора, он наткнулся на кота, споткнувшись об него, и шлепнулся во весь рост. Не обращая на него внимания, кот двинулся прочь, угрожающе размахивая хвостом.

Грег стянул с брюк мокрую траву. Он подполз на четвереньках и стал закручивать вентиль подачи воды в шланг, когда из окна над головой раздался голос Пэтти:

— Культурно отдыхаете?

Он медленно выпрямился во весь рост. Пэтти, одетая в белое, стояла у окна.

— Вовсе нет. — Звучало глупо, но это была правда. Он знал, что его недостаток — буквальный способ выражения. — Видите ли, я прогуливался, и вдруг...

Но и в толстых томах, где собрана вся ложь, веками выработанная человечеством, трудно было найти подходящее объяснение данной ситуации.

— ...я очутился рядом с вашим домом...

— ...и вам тут же захотелось пить?

— Да, меня одолела жажда.

— А вода на запертом заднем дворе намного свежее, чем из крана на фасаде.

— Минуточку, Пэтти...

— Не хотите ли чашечку кофе, положенную вам как спортсмену на дистанции?

Он не поверил своим ушам. Его не приглашали в дом с тех пор, как появился этот фэбээровец и оккупировал плацдарм.

Она продолжала:

— Я сейчас спущусь на кухню и открою вам дверь.

Пока он ждал, появился Д.К. Грегу страшно захотелось поддаться ему ногой. Но он подавил этот импульс. Коль скоро Пэтти согласна забыть прошлое, он подпишет перемирие и с котом.

Через пять минут появилась Пэтти в легком платье, с распущенными до плеч волосами. Она выглядела так, будто целый час работала над внешностью, добиваясь эффекта нежной трогательности.

Ни малейшим намеком Пэтти не обмолвилась о событиях прошлой ночи и сделала это намеренно. Когда прошла первая волна злобной ревности, она стала мыслить более рационально. Скорее всего, Зик ей не подходит. То, что ей казалось мальчишеской застенчивостью, могло быть на деле абсолютной индифферентностью. И когда он временами уносится мыслями куда-то вдаль, то именно там он и пребывает: где-то вдали. Ну и пусть пребывает. Но уже без нее.

И все же ее злило то, что Зик ходил на свидание с другой девушкой. Может быть, она — информатор, а может быть, и нет. Важно другое: свидание было весьма нежным, и Зик хотел скрыть от нее свое при-

существование в ресторане. Если же он, как утверждает, был на службе, зачем лезть под стол?

Она пыталась убедить себя, что это к счастью: убедиться в его неверности до регистрации брака. Но ничего не помогало. Она любила этого типа.

Теперь Пэтти деловито отмеряла кофе для кофеварки. На улице солнце размышляло, не пора ли вставать.

— Как насчет бекона с яичницей? — между делом спросила она. Она никак не могла понять, какого черта Грег возился у нее под окном, и боялась углубляться в эту проблему из опасения, что Д.К. унес застреленную Греггом дичь и Грег кинется ее возвращать.

Грег покачал головой.

— Спасибо.

Он тщательно следил за фигурой. Большинство мужчин пренебрегают этим, неизвестно почему. Они хотят, чтобы их женщины были стройными, но себе отрачивают брюшко, как пивной котел, и делают вид, что его нет. Они думают, что достаточно затянуть ремень на лишнюю дырочку и никто не заметит.

Пэтти видела, что Грег жаждет объясниться.

— Не надо ничего придумывать. Приходите сюда в любое время. — Однако она позволила себе подпустить шпильку: — У нас забор не под током.

— Сожалею, что так поступил.

Пэтти вспомнила, что кофе он любит черный.

— Между прочим, — сказала она небрежно, — Зик и я решили, что каждый пойдет своим путем.

От радости Грег отхлебнул кофе больше, чем был в состоянии проглотить. После продолжительного откашливания он произнес:

— Рад, что вы пришли в чувство. Я знал, что он вам не пара, но мне хотелось сохранять хорошую мину при плохой игре. Вы и детектив, о, боже, детектив! Как сказала миссис Макдугалл...

Он умолк. По выражению ее лица он понял, что на роль третьей стороны судьбы избрал не того человека.

— Сам по себе он парень неплохой. Я ничего против него не имею. Не поехать ли нам сегодня куда-нибудь? В "Кокосовой роще" сегодня Робер Гулэ. Потанцуем, возместим потерянное время.

— С удовольствием.

— В восемь?

Она кивнула.

— Тогда увидимся, — сказал он, выходя через кухонную дверь. — Как только Майк встанет, поговорите с ним. Не забудете? Как только встанет.

Когда Грег ушел, Д.К. напомнил, что ждал достаточно терпеливо. Он был готов поесть отбивных почеч. Мясные смеси ему надоели. Два дня назад он весьма наглядно выразил свое мнение по поводу мясной смеси, демонстративно закапывая ее лапкой под пленку. Эта демонстрация затронула души всех присутствующих. Так он довел свою точку зрения до сведения тех, кого это касается, и в результате теперь Пэтти

выживает из банки отбивные почки. Иногда в отношениях с людьми необходимо проявлять твердость. Они становятся от этого намного умнее, чем прежде.

Пэтти опустилась рядом с ним на пол и, когда он кончил есть, взяла его на колени. Почесала шейку и поговорила с ним, как делала много лет назад. Тогда она шла к нему за утешением после очень печальных событий, чтобы поплакать, теперь она слишком взрослая, чтобы плакать. Тогда он слушал ее и все понимал. И теперь он потрется об нее головкой и даст ей понять, как он ее любит. И по ночам, когда ей плохо, он приходит к ней в кровать и ползет по ногам, в итоге устраиваясь у нее на локте.

Тут она забормотала:

— Люблю его. Страшно люблю.

И по тому, как она это сказала, кот решил, что у нее разбито сердце.

20

После этого Пэтти целый час просидела в гостиной, читая утреннюю газету. Мысли ее скользили по заголовкам и вновь улетали прочь, к Зику и Грегу. То она сожалела, согласившись на свидание с Грегом. То радовалась, что отомстит. Это заставит мистера Келсо поразмыслить над своим поведением. Если он решил, что получил ее в завернутом, опечатанном и упакованном виде, то жестоко ошибается.

Приятно было вспомнить, как просветлело лицо Грегга, когда она дала согласие на встречу. Это был прежний Грег, такой, каким он был много лет назад, радовавшийся, что поведет ее на вечеринку, в кино или на футбол. Сколько лет он был под рукой в нужную минуту, когда надо было разрешить какую-нибудь проблему, починить машину, проверить налоговую квитанцию или просто когда возникала необходимость в сопровождающем мужчине. Пэтти знала, Грег всегда надеялся, что в итоге она выйдет за него замуж. Того же ждали и соседи. Она давно уже могла стать миссис Болтер, если бы не его вздорный характер. Правда, все чаще и чаще ему удавалось брать себя в руки. Случаев, когда он выходил из себя, вроде отпечатков лап кота на машине, становилось все меньше.

Грег и Зик, такие разные. Грег жил, чтобы ходить на шоу и танцы и носиться с ревом по автострадам. Зик предпочитал тихие беседы, поездки на пляж в Бальбоа, плавание под парусом, пикники, путешествия автостопом, охоту в горах. Грег был всегда наготове, на взводе, как сжатая пружина, а Зик напоминал разношенные туфли, в которых удобно ходить. Грег говорил, что думал, Зик погрузился в себя. Грег был открыт, Зик оставался загадкой.

В том-то и дело! Хватит с нее загадок. Она не собирается посвящать жизнь разгадыванию загадок. Как он мог, как он только мог? Стоило ей представить себе эту сцену с чудо-блондинкой, глядящей Зика по щеке, прижимающейся к нему, к вящему его удовольствию, Пэтти краснела с головы до пяток.

Она вернулась к действительности, услышав, как тихо отодвигается

зашелка задней двери. И припомнила другие тихие, едва различимые звуки, отпечатавшиеся в памяти, пока она витала где-то далеко.

Неслышными шагами она подошла к окну столовой, откуда было хорошо видно заднее крыльцо. И не поверила своим глазам. Там стоял отец, потихоньку вынесший на бумажной тарелочке прямо в кусты еду Приблудному Коту. Он ждал, пока П.К. кончит есть, чтобы забрать тарелочку.

Когда отец вернулся на кухню, его уже поджидала Пэтти.

— Ай да папа, кто бы мог подумать? — шутливо упрекнула она.

Отец поглядел на нее так, будто его застали, когда он прикарманивал деньги из церковной копилки.

— Не веди себя так, будто поймала меня с поличным за распространением героина. Кот умирал от голода. Он мог умереть прямо здесь. Она покачала головой.

— А нам, своим детям, ты запрещал выносить ему даже объедки! Хочешь иметь кошку — корми ее. — Она рассмеялась и погладила его по щеке. — Значит, будем кормить П.К.

Пэтти достала бекон и яйца.

— А откуда ты подглядывала?

— Из гостиной. Мне не спалось.

— Что-то не так?

— Ничего.

— У Ингрид с ее мальчиком?

Пэтти отсчитала восемь ломтиков хлеба и поместила их на решетку тостера.

— Ингрид сама справится. Не дави.

— Не очень-то верится. Думаю, нам надо проявить твердость. Не нравится мне, что она всю ночь будет сидеть на пляже с этим парнем.

— Не переживай. В ее возрасте ей пора научиться самой принимать решения.

Он подал на стол тарелки, потом поставил чашки с блюдами.

— Тогда в чем дело, Пэтти? Что тебя мучит?

С первых минут сознательной жизни она знала, что отец умеет читать ее мысли. Он до того точно их узнавал, что становилось страшно. Так было и сейчас.

— Ничего, — еще раз сказала она.

— Что-нибудь с Зиком?

Она кивнула.

— Вчера ночью мы поссорились.

— Навеки?

— Мне не хотелось бы говорить об этом. Не сейчас. Извини и пойми меня.

Он глядел в окно вверх апельсинового дерева.

— Пойду-ка я побреюсь. Мне сегодня надо пораньше быть на работе.

Он направился в ванную. Для отца самое скверное начинается в тот день, когда он снимает с себя функции главы семейства. Когда приходит время отказаться от руководства. Теперь все стоят на своих ногах. И если кто-то из них упадет, тебе их не поднять. Теперь не

пойдешь в школу поговорить с учителем. Настало время, когда помочь им уже нельзя, как бы ни хотелось, как бы ни ощущалась их боль.

Пэтти варила новую порцию кофе, когда вплыла Ингрид.

— Застегни мне молнию, сестренка, — попросила она. На ней было легкое голубое летнее платье. — Если у меня когда-нибудь будет свой дом, — продолжала Ингрид, — то там будет десять комнат и в каждой ванна. Папа бредется, а в очереди уже стоит Майк. А где Д.К.?

— Часов в пять он попросился на улицу.

— В пять! Значит, ты не спала. Я знала, что ты не уснешь, и я рада, потому что ты должна обо всем как следует подумать. Если бы такое случилось со мной, я бы сказала себе...

— Мне все равно, что бы ты сказала себе.

— Прости, сестрица. Зик — это чудо. Такого ты никогда больше не встретишь, и нельзя просто так взять и пройти мимо. Если бы он был не таким старым, я бы сама вышла за него замуж.

Она на цыпочках подошла к задней двери. Открыла и свистнула.

— Интересно! Куда же подевался наш кот? Да, забыла тебе сказать, Зик хочет взять его еще раз сегодня вечером. Он просит не выпускать его целый день, дать ему возможность хорошо отдохнуть и успокоить нервы.

Пэтти включила кофеварку в сеть.

— Дело твое. Меня дома не будет. У меня свидание с Греггом.

— С Греггом! — в ужасе отозвалась Ингрид. — Ты идешь на свидание с ним просто назло Зику. В нашем школьном курсе человеческих отношений подробно говорится об этом. Последствия такого поступка бывают ужасными. Дело не в том, что Грег неинтерсен, но если заглянуть в будущее, когда вам с Зиком будет уже за тридцать и физическая привлекательность потеряет свое значение... Как я уже сказала, Грег — интересный мужчина, и я бы вышла за него замуж, если бы не Зик, но такого, как Зик, не найдешь, второго такого на свете нет.

Пэтти с раздражением предложила:

— Почему бы тебе не выйти замуж сразу за обоих и тем самым решить за меня все проблемы?

— Сестренка, ты знаешь, что я просто хочу тебе помочь. Ты смотришь на ситуацию лишь со своей колокольни. До тебя не доходит, что сейчас мы решаем вопрос на всю жизнь, кто станет моим шурином.

— И моим, — подал голос Майк, энергично врываясь в комнату. — Доброе утро, — сказал он сестрам. И продолжил: — Свой голос я подаю за ФБР.

— Он подслушивал, — с упреком произнесла Ингрид. — Он стоял в холле и подслушивал.

— Мне придется снять напрокат римский цирк, — горько заметила Пэтти. — Тебя хочет видеть Грег. Прямо сейчас.

— Грег? С какой стати?

— Откуда мне знать? Он тут шнырял в кустах под моим окном в пять часов утра.

— Зачем? — спросила Ингрид.

— Пойду выясню, — сказал Майк.

Пэтти крикнула вдогонку:

— Завтрак через десять минут. Слышишь, через десять минут!

— Сестренка, — нерешительно заговорила Ингрид, потягивая апельсиновый сок.

— Я сказала — нет.

— Но ты даже не выслушала...

— И все равно — нет. Особенно, когда ты разговариваешь в таком тоне.

Но Ингрид настойчиво продолжала:

— Когда ты меня так грубо перебила, я хотела тебе сказать: я знаю, что должна в выходные побыть дома и помочь по хозяйству, но наши одноклассники собираются поехать в больницу в Камарилью побеседовать с группой умственно отсталых девушек и выяснить, нельзя ли заинтересовать их шитьем или рукоделием, чтобы они не замыкались в себе. Ты знаешь, это помогает.

— А Джимми едет?

— Не может. Он участвует в соревнованиях. Гонки за лидером.

— А если бы вы отложили поездку на неделю?

— Бог ты мой, сестренка, тебе бы прокурором работать. Ты так умеешь вывернуть все шиворот-навыворот, что получается, будто Джимми не заинтересован в помощи больным людям.

— А разве это его интересует?

Ингрид задумалась.

— Ну, у нас просто разный образ мыслей.

— Разный, — сказала Пэтти. — В общем, если тебе надо будет куда-нибудь поехать в субботу из суббот...

Ингрид стала тискать Пэтти.

— Спасибо, сестренка. — Она подошла к двери и снова свистнула, вызывая Д.К. — Когда наша бездонная бочка не приходит к завтраку, что-то не так. Как ты думаешь, не поставил ли Грег новую западню?

Майк вернулся вовремя и первым уселся за стол.

— Грег, — закричал он, — Грег — мировой парень из самых мировых! На большой! Таких мужиков на свете больше нет! Кроме, конечно, папы.

— Сколько? — спросила Пэтти.

— Сколько чего?

— Сколько он тебе платит за рекламу своих добродетелей?

— Ни единого цента. Клянусь...

— Значит, у тебя неприятности, а он тебя выручает.

Лицо у Майка вытянулось. От продолжения допроса его спас приход отца, который приглаживал рукой волосы.

— Почему они растут кустами? Я могу их только расправить.

Когда все расселись за столом, отец сказал:

— Сегодня, Майк, твоя очередь.

Произнося ежедневную молитву, Майк был весьма прямолинеен. Он выступал, как бухгалтер, благодарящий Господа за каждое конкретное благо. Сегодня он помянул Грега и козла.

Когда Майк кончил, Джордж Рэндалл обильно намазал патокой гречневый кекс.

— Поскольку среди прочего ты поднял вопрос о козле, то не буду задавать вопрос, что именно он делает перед фасадом нашего дома, ибо я никогда не поощрял неправды. Но позволю себе все же спросить, является ли он постоянным жителем нашего двора или временным его обитателем?

Тут заговорила Ингрид.

— Это "козел отпущения". Он тут остался после вечеринки. После уроков я отведу его домой.

— Лучше бы это была корова, — произнес Майк, запихивая в рот горячий кекс. — Вы знаете, что у коровы четыре желудка? По-латыни они называются "румен", "ретикулум", "омасум" и "абомасум". Представляете себе, сколько она может одновременно заглотать горячих кексов?

Ингрид решила, что стареет. Она припомнила, как давным-давно сама любила выражаться подобным образом и считала это весьма шикарным.

— Не знаю, что бы мы делали, если бы ты нас не просвещал.

В эту минуту Ингрид, идя к плите, наступила на что-то скользкое. Увидев, на что она наступила, Ингрид разинула рот и плюхнулась на ближайший стул.

— Она встала на мою лучшую улитку, — укоризненно произнес Майк.

— Майк! — рассердилась Пэтти. — Я же предупредила тебя, что если я опять увижу в доме улиток...

— Улиток? — вышел из себя Джордж Рэндалл.

Майк стал взывать к здравому смыслу.

— Папа, ты же деловой человек и поймешь меня. За каждую беговую улитку я получаю доллар. У нас в Вудлэнд-Хиллз будут дерби улиток, и я их тренирую. Это товар, на который существует спрос у покупателей от шести до восьми лет.

— А мне все равно, хоть для дерби в Кентукки, — сказала Пэтти, — улиток из дома надо убрать.

В дверь позвонили.

— А это еще кто? — резко спросила она. У двери она на миг замерла. Сердце сильно билось. А вдруг это Зик? Она поспешно стала придумывать подходящие слова.

Это оказался Мервин в сопровождении мальчика такого же возраста.

— Можно посмотреть на моего кролика? — Он показал на спутника:

— Мой товарищ Билли. — А Билли он сказал: — Это мама Майка. Она хорошая.

Майк громко крикнул:

— Мервин, заходи и забирай свой аккумуляторный фонарик из розетки в гостиной.

— Так это его фонарик? — в изумлении спросил Джордж Рэндалл.

— Это небольшая услуга, которую я предоставляю моим клиентам, — доверительно сообщил Майк. — Стоит недорого, и им это нравится.

— Так вот почему изо всех розеток торчат аккумуляторные фонарики на подзарядке!

— Пойду поищу Д.К., — сказала Ингрид, так и не кончив завтрак.

Она свистела и звала кота по имени, а в это время от сильнейшего стука в дверь в буфете зазвенела посуда. Все подпрыгнули. Этот отчаянный стук был очевидным знаком катастрофы, происшедшей или будущей.

Пэтти открыла дверь и обнаружила на крыльце наклонившую голову миссис Макдугалл, похожую на быка, выпетевшего на арену с раздутыми ноздрями.

— Что случилось, миссис Макдугалл... — начала Пэтти.

— Лишь благодаря милости Божьей стою я здесь, а не благодаря заботе людской. Еще один час, и мы с Уилбером утонули бы во сне и переселились в мир иной.

— Что вы имеете в...

Миссис Макдугалл не терпела, когда ее перебивали.

— Если бы я не встала посреди ночи... когда меня подняла неведомая сила. Встала я и пошла на кухню, а там подо мною что-то журчит и шумит, комната качается, как пьяная, и я побежала к подвальной двери, и если я даже доживу до ста лет, как моя бабушка, мир ее праху, то никогда это зрелище не изгладится из памяти: волны так и ходят ходуном в темноте, лизут верхние ступеньки и стараются добраться до меня.

Пэтти подождала, пока она замолчит.

— Мне жаль, что у вас затопило подвал. Если мы чем-то можем вам помочь...

— Помочь! — Последовал новый взрыв. — Вы можете закрыть воду, вот чем вы можете помочь. Напустили ее ко мне в подвал через сусликовые норы. Водопроводчики сказали, что вода, должно быть, течет уже несколько дней, а Уилбер сказал, что любой дурак понял бы... Погибли все мои варенья и джемы, а я так над ними трудилась! Но есть люди, которым наплевать на соседей, лишь бы избавиться от сусликов.

— Майк! — крикнул Джордж Рэндалл вслед силуэту, пропавшему за задней дверью.

— Грег! — прошептала Пэтти. Теперь все стало ясно: появление Грега в пять утра на заднем дворе рядом с краном, Грег, покрывающий Майка, и Майк, считающий Грега мировым мужиком. В эту минуту она стала лучше думать о Грее, который спас Майка, ничего ей не сказав.

Не прошло и минуты, как из-за спины Пэтти появился Джордж Рэндалл, волокущий за собой Майка.

— Мы оплатим убытки, — сказал он, — а Майк поможет вам вычистить подвал после уроков. Верно, Майк?

Майк был потрясен.

— Бесплатно?

— Бесплатно.

— Но за сусликов я получил всего три доллара.

— Таков закон делового мира. Появляются непредвиденные обстоятельства, и ты разорен.

— Еще как! Придется платить из будущих доходов.

Миссис Макдугалл успокоилась.

— Я сказала Уилберу, они поступят честно. Я сказала Уилберу...

Она тут же позабыла, что она сказала Уилберу. И снова обратилась к Пэтти:

— Бедное, бедное дитя! Мою двоюродную сестру тоже когда-то соблазнили и покинули. Тело ее нашли в реке, а к своей груди она прижимала портрет...

Вскоре после ее ухода Ингрид разразилась слезами:

— Он умер — валяется под домом и не отзывается на мой голос и даже не дышит.

Пэтти ринулась из дома, а за ней все остальные. У лаза под домом она опустилась на колени. Ингрид оказалась права. Д.К. лежал, вытянувшись во всю длину. Не двигались ни хвост, ни уши, ни другие части тела. Она позвала его сначала тихо, потом чуть громче. Плачущая Ингрид присела рядом.

— Ну-ка, пустите меня, — сказал Джордж Рэндалл. Он пролез под дом, и когда очутился в нескольких футах от кота, тот открыл глаза. Он, конечно, слышал Ингрид, но предпочел не отвечать. Ему надо отдохнуть. И потом он чувствовал себя не слишком хорошо. Съел что-нибудь не то. Может быть, жареное мясо?

— Он в порядке, — сказал им Джордж Рэндалл. Пэтти вздохнула с облегчением, но Ингрид еще пуще расплакалась.

— Вытащить его? — спросил Джордж Рэндалл.

Что же, они собираются тащить его отсюда, невзирая на то, в каком он состоянии? Неужели Рэндалл не видит, что ему плохо? Ему бы самому понравилось, если бы его куда-то тащили наутро после большого приема? Тут Д.К. пронзила острая боль в левом боку. Он чуть-чуть застонал.

— У него что-то болит, — сообщил Джордж Рэндалл. Это решило ход действий. Он подsunул руки под Д.К. и осторожными движениями подтащил кота к лазу. Д.К. застонал.

— Он умирает, — сказала Ингрид. — Я вижу. Я проходила в школе курс первой помощи...

— Не лучше ли отвезти его к врачу? — спросил Майк. — Я оплачу. Все оставились на него с удивлением.

— А для чего тогда деньги? — жестко произнес он.

— Давайте подождем, — предложила Пэтти. — Может быть, он просто переел?

Ингрид сказала:

— По-моему, надо предупредить Зика.

— Нет! — воскликнула Пэтти и спокойно добавила: — Подожди до конца уроков.

Д.К. опять застонал. Эти приступы колющей боли появлялись все чаще и чаще. Он потянулся, чтобы лизнуть Ингрид, затем поглядел на нее долгим прощальным взглядом.

Окончание следует

Игорь ДРУЖИНИН

В СЕРДЦЕ ХРАНЮ

* * *

Хорошо, что это так бывает,
Когда видим с изумленьем мы,
Как живое чудо возникает
Среди нашей школьной кутерьмы.

Коротко подстриженная челка,
Брови соболиные вразлет —
Вроде бы обычная девчонка
Коридором не спеша идет.

Толстые учебники в портфеле,
В сумке для черчения планшет...
Отчего же сразу онемели
Мальчишки у входа в кабинет?

Отчего так трепетно и жарко
Сердце начинает биться вдруг?
И урок по физике насмарку —
Мысли словно листья на ветру.

Но мальчишек упрекать не надо...
Даже поседевший педагог
Встретился с ее лучистым
взглядом —
И сердиться на ребят не мог.

Вспомнил он, что сам —
такой же шальный —
Видел только профиль у окна:
Там задачки сложные решала
Самая красивая — Она!

Потому, душою молодея,
Долго он смотрел ребятам вслед,
В первый раз, наверное, жалея,
Что ему не восемнадцать лет...

* * *

С годами не дальше, а ближе
Картины поры фронтовой.
Я зорче, отчетливей вижу,
Что было когда-то со мной:
От первой солдатской поверки,
От первой команды: "Вперед!" —
До майских ночных фейерверков
В тот славный и памятный год.
И все, даже самую малость,
Я в сердце недаром храню:
Нам дорого слишком досталась
Дорога к Победному Дню!

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Он для меня стал близким
и родным,
Товарищем
внимательным и строгим.
Который год
мы делим вместе с ним

Все радости, заботы и тревоги.
Как я всегда тоскую без него,
Куда б меня судьба ни уводила,
В нем светлое таится волшебство,
Какая-то целительная сила.
И я неволью ускоряю шаг,
Заслышав, как гудит ребячий улей,
Как будто на свидание спеша,
Вновь открываю двери вестибюля,
Чтобы среди знакомых

школьных стен
Душою молодеть в живом потоке
И подмечать в ребятах на уроке
Черты желанных добрых перемен...

НАС СЧИТАЮТ "КОНЧЕННЫМИ"...

...Не знаю, что меня побудило написать это письмо-исповедь, может, я это и зря делаю, но хочется кому-то высказаться полностью, хочется, чтобы кто-то понял тебя, а не отталкивал от себя. Таких, как я, считают "конченными", хотя мы так молоды!

Мне 23 года, я — "наркоша со стажем", кайфую с 1984 года, поэтому опыт имею немалый и хочу поделиться кое-чем с вами. Я прошу вас хотя бы затронуть проблему наркомании на ваших страницах для того, чтобы те, кому еще не поздно, — остановились!

Расскажу вам свою историю, а там судите сами.

В 1984 году я ушел от родителей жить на квартиру и устроился работать на завод, хотя семья у меня обеспеченная и родители вполне нормальные люди. Просто захотел самостоятельности. В цехе познакомился с парнем, который уже был неоднократно судим, наслушался сказок о "блатном мире", о его законах, и мне по-

нравилась такая жизнь, захлестнула "блатная романтика". Как-то приехали на "блат-хату", где все были намного старше, все "сидевшие", бывалые... Предложили перекинуться в картишки, во время игры дали папироску, и все, дальше ничего не помню. Проснулся утром — и мне вежливо предъявили счет, сказали, что я должен две с половиной тысячи. Показали расписанные партии и т.д.

Что такое карточный долг — я уже знал, но отдавать мне было нечем, и мне предложили отработать долг — поехать батраком в Казахстан, на поля. Я согласился, поехал. Потом уже я понял, что это целая "фирма", для которой такие дураки, как я, собирают "кайф", а они наживаются на этом деньги. Там первый раз укололся, и пошло и поехало.

Долг-то я отработал, вернулся в родной город, но вернулся, уже плотно "сидя на игле", за один укол готов был пойти на все, и если в Казахстане

Мы уже не раз обращались к теме, о которой идет речь в этом письме, но, несмотря на это, решили дать слово его автору на страницах журнала, поскольку здесь не только конкретная проблема, но и конкретная судьба — а это убедительнее всяких слов. Хотя каждое его слово — выстрадано, пережито и каждый из крутых жизненных поворотов его судьбы мог стать последним. К счастью, не стал.

Говорят, что каждый учится на своих ошибках. Наверное, это так, и, наверное, это справедливо. Однако разные случаются ошибки, и порой слишком велика бывает цена, которую приходится платить. И, может быть, соизмеряя то и другое, не стоит так сразу, без раздумий, отвергать опыт, который так дорого стоил автору этого письма, твоему вчерашнему сверстнику.

Мы благодарим Е.П. за доверие к журналу, за добрые слова в его адрес. Письмо публикуем почти целиком, опустив лишь имя автора и название города, в котором он живет.

с этим было легче, то здесь за «кайф» надо было платить деньги, в день требуется как минимум сто рублей, а где их взять? Стал воровать, воровал в основном по машинам — магнитофоны, кассеты и все, что подороже. Постепенно узнал всех барыг в городе, которые торгуют «кайфом», стал ко всем вхож, потом и в других городах стал вхож к барыгам — в Ростове, Донецке, Майкопе, Джанкое и т.д. Смотрел на «авторитетных» блатных и мечтал о таком же «авторитете»... А годы все шли, я уже достиг той поры, когда приобрел «авторитет», у меня появились свои «шестерки», свое имя в преступно-молодежной среде, но финал всегда один — попал на скамью подсудимых, суд дал три года исправительных работ на стройках народного хозяйства. Состою на учете в спецкомендатуре, до конца срока осталось два с половиной месяца, можно сказать, наказание уже почти отбыл.

Здесь я все тот же «автори-

тет» и т.д. Только противно уже им быть, надоело все. Сколько раз пыгался «спрыгнуть с иглы» и каждый раз срывался, начинал по новой. И так было до осени 1990 года, когда попал в больницу с ножевым ранением в живот. Я был очень удивлен, когда вдруг ко мне в больницу приехала девушка, с которой я когда-то встречался и потом расстался (опять-таки из-за «кайфа»). Она стала навещать меня каждый день, была рядом в самые трудные минуты, ведь уже на второй день пребывания в больнице у меня началась так называемая «ломка». Она уговорила меня еще раз попробовать «спрыгнуть», начать жить по-новому, нормально.

Вот уже четвертый месяц, как я бросил всю свою прежнюю жизнь и начал новую, без «кайфа» и всего прочего, стал чувствовать себя человеком, а не тупой скотиной, зависящей от барыги и «кайфа».

Да, я «спрыгнул» и знаю, что

это уже окончательно, поэтому и решил написать вам письмо — ведь сколько еще "сидит на игле" пацанов и девчонок! Только в нашем городе я знаю более пятидесяти "точек", где днем и ночью торгуют "наркотой", у кого нет денег — везут туда вещи, золото, аппаратуру и т.д. И так изо дня в день! За шесть лет я всю эту кухню познал досконально и поэтому могу привести даже некоторые цифры: суточный доход одного барыги — до пяти-шести тысяч рублей, при цене опия двадцать рублей за 1 мг. Вот и представьте, сколько народу к ним за день ездит!

Я не хочу, чтобы кто-то повторил мой путь и прошел через все это — ведь у многих еще есть шанс, есть еще одна попытка уберечь самих себя и, пока не поздно, бросить! Ведь среди наркоманов малолеток становится все больше и больше, а многие из них просто-напросто не понимают, на что они идут и чем рискуют, им просто это интересно, увлекательно... И только потом, когда уже будет поздно, начнешь отчетливо понимать, что за "кайф" приходится платить самой дорогой ценой — здоровьем и искалеченной жизнью!

Е.П.

P.S. Если хотите посмотреть своими глазами — приезжайте, повозу по городу, убедитесь сами, насколько у нас организована наркомафия и как до смешного бессильны органы.

Скажу сразу: я не сексолог, а будущий учитель русского языка и литературы. Учусь на первом курсе филологического факультета педуниверситета (МПГУ), мне нет еще восемнадцати. Поэтому о сексуальном воспитании буду говорить с позиций учителя.

Сколько сказано и написано за последние годы в защиту этого самого "сексуального воспитания" — начиная от академика, "почетного миссионера секса", кончая представителями "безграмотной" молодежи. Практически все газеты и журналы имеют постоянные рубрики, где публикуются статьи разного рода сексологов, основной лейтмотив которых "Мы — специалисты, поэтому получайте знания от нас, а не из подворотни". В них критикуются и величаются "ханжами" все те, кто имеет по этому вопросу свое мнение, отличное от мнения авторов.

Хочу сказать сразу — я не против секса. Против него быть нельзя — ведь это естественная человеческая потребность, своего рода рефлекс. Но раз так, то в каком же "обучении сексу" может идти речь? Ведь не учимся же мы, например, дышать, есть или пить. Жили же люди раньше без специального секс-инструктажа — и почти в каждой семье рождалось много детей, причем здоровых детей. Или вспомним о "братьях на-

СТРАСТИ ПО АПУЛЕЮ

ших меньших". Возьмем, к примеру, горного козла: бегаёт, бегаёт он по горам, но приходит время — и, как ни странно, он прекрасно справляется со своими обязанностями.

Обделенные воспитанием нередко противоречат сами себе: куда и что — понятия не имеем, да и контрацептивами пользоваться не умеем. И нередко говорят это те, кто все уже давно умеет и все прекрасно знает на собственном опыте.

Ну ладно, ввели "Этику и психологию семейной жизни" для старшеклассников (которая ничего не даёт и является бесполезной тратой времени). Но говорить о "половом воспитании" с яслей — это уж слишком! Ведь очевидно, что ни малышу, ни ребенку младшего школьного возраста все это, мягко говоря, не нужно. У них свой, хрупкий мир, и грубое вторжение в него может принести только вред. Придет время — и они сами обо всем узнают. Это будет и естественнее, и гораздо интереснее для них.. Я сам жил когда-то в сказочном мире, верил в чудеса, в деда-мороза. И, конечно, не мог понять многих вещей, которые осознал позже. Всему свое время. Не надо торопить события.

Однако по тем же сказкам дети прекрасно знают, что такое лю-

бовь. Между мальчиками и девочками существует взаимный интерес, хотя они и не думают о физических проявлениях. А как быть с ребятами старшего возраста — возраста, когда вопросы пола требуют немедленного ответа? Здесь, по-моему, может помочь только общее культурное развитие. Так называемой "сексуальной культуры", которой якобы нужно учить, в отдельности существовать не может, так как культуру разделить на части нельзя: вы — либо культурный человек, либо нет. Невозможно быть только "сексуально культурным". Если еще не сформировавшаяся личности дать одно лишь знание сексуальных поз, то в лучшем случае эта самая "личность" запутается... Но как же быть? Как проводить половое воспитание подростков без ущерба для нравственности?

По-моему, здесь не надо изобретать велосипеда. Нужно всего лишь обратиться к классической литературе и искусству, дающим богатейший материал для "воспитания чувств".

Чтобы не быть голословным, приведу отрывок из Д.И.Фонвизина. Насколько актуальны для нашего времени любовные переживания молодого человека середины XVIII века — судите сами.

В "Чистосердечном признании в делах моих и помышлениях"

(книга II) Фонвизин пишет, что ему в университете за переводческие труды книгопродавец "обещал чужестранных книг на пятьдесят рублей", — и он получил их. "Но какие книги! Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, кои развратили мое воображение и возмутили душу мою (аналог современных книг по технике секса. — А.Ф.). Узнав в теории все то, что мне знать было еще рано, искал я жадно случая теоретические мои знания привести в практику. К кому показала мне годною одна девушка, о которой можно сказать: толста, толста! Проста, проста! ... Я привязался к ней, и сей привязанности была причиною одна разность полов: ибо в другое влюбиться было не во что... Я начал к ней ездить, казал ей книги мои..., и она в теории получила равное со мной просвещение. Желал бы я преподавать ей и физические эксперименты, но не было удобства: ибо двери в доме матушки ее, будучи сделанными национальными художниками, ни одна не только не затворялась, но и не притворялась..."

Ну разве не интересно познакомиться с подобными впечатлениями? Или, скажем, с советами молодому человеку из "Мудрости жизни" Константина Алексеевича Толстого? А сколько можно почерпнуть из сказок "Тысячи и одной ночи"! А античная литература — например, "Наука любви" Назона, или "Сатирикон" Петрония, или "Золотой осел" Апулея! Юный Пушкин, специально сексуальным воспитанием, как известно, не занимавшийся, писал, что в лицее "читал я много Апулея, а Цицерона не читал".

Кстати, о Пушкине. Я бы очень хотел, чтобы журнал "Мы" опубликовал его поэму "Гавриилиада", так как отдельно ее не издают и встречается она только в собраниях сочинений. Эта поэма просто не может не взволновать — столь тонко, изящно, иронично подана здесь "любовная линия"... Подобное чтение, поверьте мне, во много раз полезнее и занимательнее, чем штудирование дешевых кооперативных пособий. Читайте также рассказы Бунина ("Натали", "Начало", "Второй кофейник", "Руся"), Куприна ("Суламифь", "Олеся"), в конце концов шолоховский "Тихий Дон" — и вы решите все свои любовные проблемы.

Вот в принципе все, что я хотел сказать. Предвижу самые разнообразные отклики (в том числе и нападки). После моего выступления в передаче "О запретном" (телепрограмма "Институт человека") некоторые мои знакомые говорят мне, что я берусь судить о таких проблемах, которые понимаю лишь теоретически, поскольку практики нет. А вот они. Мол, специалисты... Охотно верю. Но это не меняет дела: все зависит от мироощущения человека, от его внутренних установок.

Я знаю, что в редакцию приходят письма, в которых девушки (реже мальчики) спрашивают, когда можно начинать половую жизнь, как вести себя в постели и т.д. Ну посудите сами: разве можно ответить на подобные вопросы? Кто вбил вам в голову мысль, что вы этого не знаете? Столько времени все знали, и вдруг в один прекрасный момент такая поголовная забывчивость... В крайнем случае если и будут какие-нибудь

вопросы, когда вы, дорогие девушки, выйдете замуж, вы сможете проконсультироваться индивидуально. Такая возможность есть. А сейчас это вам зачем?

Не мне вам рассказывать, что сейчас весь Запад вновь обратился к романтической любви, к истинным человеческим ценностям: крепкой семье, верности. Они-то перебесились, а вот нам-то стоит ли повторять их путь сексуальной революции со всеми ее издержками (увеличение проституции, насилие и т.д.).

Любовь прекрасна, и познать ее можно только через прекрасное (искусство, литературу). Картины помогут вам домыслить то, что не даст никакая порнография. И когда любовь будет окрылять вас, вы не станете задавать лишних вопросов.

Александр ФОМЕНКО,
студент, 17 лет

От редакции

Наверное, не все мысли и выводы Саши Фоменко получают поддержку наших читателей. Что ж, это вполне объяснимо. Молодости свойственно увлекаться — во всем, в том числе и в аргументации своих убеждений. Может быть, кто-то думает и по-другому. Но главное, ради чего журнал "Мы" решил предоставить свои страницы для этого выступления, — это надежда на истину. Ту истину, которая должна родиться в споре.

Но есть в "Страстях по Апулею" и то, с чем, наверное, согласятся все читатели, для которых литература — не только отдых "в свободную минуту", но и возможность стать духовно

богаче, впитать в себя культуру, накопленную в веках. И в этом смысле мы поддерживаем совет Саши читать хорошие книги — даже для "сексуального" образования. В них, в общем-то, все сказано.

Одним из тончайших знатоков души человеческой был классик русской литературы Иван Алексеевич Бунин. Саша Фоменко не случайно упоминает его рассказы, вошедшие в знаменитую книгу "Темные аллеи" — книгу рассказов о любви, показанной предельно открыто, без смущения. Недавно до последнего времени даже в собрании сочинений классика эта книга публиковалась не полностью. И лишь только теперь она дошла до нас без цензурных изъятий.

Мы предлагаем познакомиться с рассказами-миниатюрами И.А.Бунина, неизвестными советскому читателю. Они сохранились в архиве писателя и были там отысканы литературоведом Ю.Мальцевым.

О чем они? Конечно — о любви. Конечно — о человеке. Да, может быть, это две "вечные" темы литературы. Но каждый писатель видит свой, неповторимый поворот этих тем.

Бунин говорит о том темном, трагическом, что несет в себе любовь — и возвышенно-поэтическая, и плотская, земная, "эротическая". Его откровенность дает читателю возможность заглянуть прежде всего в самого себя, познать свои чувства и мысли, даже самые запятанные, пугающие — в сравнении с чувствами и мыслями героев бунинской прозы.

Особое место занимает рассказ-миниатюра "В канаву!". В нем писатель близко подходит к пониманию того, что движет человеком, решившимся на крайние поступки, видящим себя некоей "всеобщей жертвой", а на самом деле являющимся игрушкой собственных амбиций.

Иван БУНИН

НЕИЗВЕСТНЫЕ РАССКАЗЫ

ПИСЬМА

Бросила, он сходит с ума, каждый день пишет ей письма, полные и угроз, и оскорблений, и унижительных нежностей, просьб вернуться, вспомнить "незабвенное прошлое"... Она дает эти письма своему новому любовнику — он после развратной ночи с ней пьет кофе, жрет круассаны с маслом и, потешаясь, вслух читает. Молод, но по утрам — припухшее лицо, нездоровый блеск глаз; размыт в ванне, черно блестят мокрые, стянутые сеткой волосы, не в меру цветистая пижама, голые ноги, их противное тело в лакированных туфлях без задка. У нее рукава матинэ так широки, что когда она наливает кофе, до плеча открывается толстая, как ляжка, рука, видна гладкая подмышка. Слушая чтение, рассеянно усмехается.

— Гренков хочешь? Еще горячие.

— Да-да, "И вот, во имя нашего прошлого, нашей былой любви...". Ты знаешь, он все это откуда-нибудь списывает.

— Вероятно. Из каких-нибудь романов...

Голая подмышка его волнуется. Встает, подходит к ней сзади, поднимает ее лицо, впивается в жирные губы. Она закатывает глаза, толчками дышит в ноздри.

15.10.44

КИБИТКА

Усадьба при большой дороге, на краю деревни. Гимназист стоит возле каменной ограды. От кибитки, отпряженной возле овсов за дорогой, идет с ребенком на руках босая цыганка.

— Барин мой серебряный, дай моему голопузенькому!

Ребенок и правда голопузый, в драной рубашонке, серьезный, мордастый, черный, курчавый; очень тяжел — держа его под ноги, вся перегнулась назад. И на самой лохмотья: истлевшая ситцевая юбка, на плечах выцветшая желтая шаль; выгоревшие от солнца волосы спутаны, на сухой коричневой шее ожерелье из каких-то оранжевых шариков; шаль сползает с правого плеча — виден изгиб коричневой от загара старой ключицы; но зубы в оскале сизых губ молодые, блестящие... Дал двугривенный в толстую слюнявую ручку ребенка, тотчас крепко сжавшуюся. Усмехнулась:

— А мне? Дай синенькую — дело сделаем.

Впервые: "Новый журнал" (Нью-Йорк), 1987, кн.168-169

Заломило низ от страшного и сладкого представления, пробормотал, краснея:

— Дам... Приходи, как стемнеет, в сад, перелезь через ограду вот в те липки...

— Приду-приду, жди меня крепко!

После ужина, украв из отцовского письменного стола пятирублевую бумажку, долго ходил понапрасну в темноте под липками. Наконец вышел на дорогу: возле кибитки жарким костром трещит сухая полынь, она одна сидит возле костра. Перешел через дорогу, подошел с бьющимся сердцем:

— Ты одна?

— Как есть одна.

— А где ж твой цыган?

— Ушел на деревню кур воровать.

— Нет, серьезно?

— Ушел, ушел, правда. Давай деньги, пойдем за кибитку.

— Почему же ты не пришла?

— Боялась. Знала, что сам придешь. Давай деньги, пойдем скорей, получишь свое удовольствие...

В темноте за кибиткой, спрятав бумажку за пазуху, схватила его ледяную руку и таинственно зашептала:

— Пощупай, пощупай. А завтра приходи опять, принеси еще бумажку, тогда совсем дело сделаем... Нет, нет, сейчас нельзя! Пусти, а то на все поле закричу! Цыган услышит, он тут в ваших овсах лошадь кормит!

16.10.44

В КАНАВУ!

Сед, лохмат, зол.

— И пожалуйста, без всяких китайских церемоний! Околою — тотчас же в яму, в канаву!

Что это, как не упоение своим воображаемым унижением, мечтой, что люди будут поражены твоим позором?

И так все, всегда:

— Паду на баррикадах за счастье народа!

Это значит: испытаю мгновение высшего опьянения своей ролью и людского восторга предо мною.

— Брошусь из окна с шестого этажа!

Чаще всего это тоже жажда поразить людей, заставить их хоть на минуту забыть весь мир ради меня.

— Побегу и первый крикну о пожаре, о смерти вашей жены, матери — принесу вообще какой-нибудь страшный слух, какую-нибудь ужасную весть!

Опять упоение, наслаждение: ведь это от меня первого узнали люди новость, это я стал предметом общего внимания, вестником события!

Более сладострастного создания, чем человек, нет на земле.

12.12.44

Майкл Джексон

ЛИШЕННЫЙ ДЕТСТВА

Не школа и не улица закладывают в ребенка черты характера и увлечения, а семья. Не было бы сегодня у миллионов поклонников обожествленного героя — Майкла Джексона, если бы он не родился в столь необычайно музыкальной семье. Родители его, надо же такому случиться, как и все 9 их детей, обладали безупречным музыкальным слухом. Культ песни царил в доме Джексонов. Отец — Джо, играл на гитаре, сочинял музыку и всю жизнь мечтал стать профессиональным музыкантом, даже пробовал играть в ритм-энд-блюзовой группе Falcon, но, поскольку она успеха не имела, прокормить домочадцев искусством не сумел и работал крановщиком на заводе. Мать — Катрина, обладала приятным голосом и часто пела дома, знакомя детей с

известными фолк-песнями. Дети же быстро переняли музыкальность у своих родителей, и все мечты старшего поколения Джексонов о славе и успехе на эстрадных подмостках сбылись для младшего поколения.

Согласно журналистской легенде, все началось тогда, когда в доме Джексонов испортился телевизор. От скуки детишки стали развлекать себя песнями, да так удачно это у них получалось, что решение создать ансамбль возникло само собой. Так родилась популярная соул-группа Jacksons 5, состоящая из пяти братьев Джексонов — Джеки, Тито, Джермейна, Марлона и Майкла.

Задавал тон самый младший — пятилетний Майкл. Он просто излучал энергию, постоянно был в движении, танцевал, звонче всех





Майкл Джексон



пел — в общем был, что называется, душой коллектива. Если все братья Джексоны имели незаурядные музыкальные способности, то Майкл обладал настоящим талантом. Большая часть 60-х годов прошла в частых выступлениях на публике, но, правда, пока в дешевых негритянских варьете, где Джексоны получали копейки. Лишь в самом конце 60-х годов их заметила бывшая тогда знаменитостью певица Глэйдис Найт и привела на студию грамзаписи "Мотаун". Ее выбор одобрила звезда музыки соул Дайана Росс и взяла семейный ансамбль под свое покровительство. С 1969 года Jacksons 5 начинает регулярно записывать свои песни, которые столь же регулярно завоевывают первые места в американских хит-парадах, обеспечивая семье колоссальный успех у публики. Задорные, темповые песни с идеальной вокальной гармонией и практически одинаковыми мелодиями, исполняемые в том самом ключе соул-музыки, который чуть позже взбудоражил мир волной диско, — невероятно полюбили подростковой аудитории в США как черной, так и белой.

Но по мере того как ребята вырастали, шарм обаяния детской непосредственности улетучивался из их выступлений. Цифра "5" выпала из названия группы, так как Джермейн женился и ушел из ансамбля, вместо него петь стал самый младший из Джексонов — Рэнди. Но эти меры уже не могли удержать уплывающую славу. Спас Джексонов от забвения Майкл.

С 13 лет, то есть с 1971 года, он начал записываться отдельно от группы. Карьера его в новом качестве соло-певца, поначалу обещавшая бурный успех — 5 хитов за 2 года, в том числе песня "Бен", которая возглавила национальный хит-парад, — постепенно скатилась на те же самые коммерческие рельсы развлекательного псевдоискусства диско-соул-музыки, которые уже были накатаны ансамблем Jacksons 5. И вполне возможно, что последний уголь дотлел бы тихонько сам по себе в остывающей топке его популярности где-нибудь на запасном пути, если бы не случай, Его Величество Случай, который непременно соседствует с успехом.

В 1978 году Майкл получает приглашение сняться в роли Пугала в кинопостановке "Волшебник из страны Оз", произведения, известного у нас под названием "Волшебник Изумрудного города". Картина, снятая в традициях бродвейского мюзикла, по общему мнению критиков, вышла слабой. Лишь игра Майкла заслужила похвалы. Но совсем не это неожиданное признание в роли киноактера стало для Джексона решающим. Случаем оказалось знакомство с Куинси Джонсом, одним из лучших американских продюсеров и аранжировщиков, который работал над музыкой к фильму. Ему-то Майкл и доверил свои последние музыкальные идеи, воплотившиеся в диске *Off the Wall* (Со стены).

Твердая рука наставника Джонса, который отказался быть простым исполнителем воли Джексона, как все бывшие аранжировщики Майкла, а органично сплел свой талант с удачной музыкой композитора Рода Темпертона, обеспечила Джексону недостававшее разнообразие в рамках одного стиля. Диск стал шедевром музыки соул, одновременно раскрыв границы этого стиля и показав слушателям его разнообразие. Успех был почти абсолютный, но, как выяснилось спустя всего лишь 3 года, это была только прелюдия к настоящему вознесению Майкла Джексона на вершину поп-музыкального Олимпа.

В 1982 году выходит пластинка *Thriller* (Фильм ужасов), которой суждено было стать самым продаваемым диском в мире. Она разошлась тиражом в 39 млн. эк-

земпляров. Песни на ней не столь разнообразны, как на предыдущем творении Майкла, однако подкупают отточенность мелодических фраз, идеальная чистота звучания, модные танцевальные ритмы, а также большое количество сенсационных нюансов — будь то дуэт с Полом Маккартни в песне "The Girl is Mine" (Эта девушка моя) или гитара звезды хард-рока Эдди Ван Халена в "Beat it" (Ударь!). Куинси Джонс использовал на сей раз различные звуковые эффекты, а главное — создал вместе с Джексонем песни образные, которые затем легко легли в основу видеоклипов.

То, что диск вышел в разгар видеобума, сыграло безусловно положительную роль. Не пожалев денег на съемки, Майкл за год снимает 3 видеоклипа (один из которых — *Thriller* — стоит 1,25 млн. долларов). Хореограф Майкл Петерс, используя природную пластичность Джексона, создал из 2 клипов превосходные балетные номера, где Майкл танцует во главе огромной кордебалетной труппы, которая в одном случае представляет мертвецов-зомби (*Thriller*), а в другом — уличную шайку подростков (*Beat it*). После этого весь мир лежал у ног Майкла Джексона. Наступил его триумф, его звездный час.

Но сколько бы удачлив ни казался Майкл в творчестве, его никогда не покидало чувство обделенности и несчастливой судьбы. То он страшно переживал, что родился негром, а не белым, и принимался глотать таблетки и делать гормональные инъекции, ложился под нож хирурга только с тем.

чтобы изменить цвет кожи и распрямить волосы. Теперь ему под страхом вновь "загореть навсегда" нельзя находиться под прямыми лучами солнца. То он спал в барокамере и питался лишь овощами и фруктами, чтобы прожить до 150 лет. То он боялся заразных болезней и даже не снимал перчаток при рукопожатии, никуда не ходил и общался с друзьями исключительно по телефону.

Одно время его причуды относили на счет капризного характера человека с миллионным состоянием. Безусловно, миллионы сделали свое черное дело и развратили "блеском злата" выходца из некогда бедной негритянской семьи. Но не стоит забывать, что Майкл Джексон — человек, оставшийся без детства. Он так и не пошел в школу, как большинство его сверстников, и играл не в игрушки, а с микрофонами, путаясь на полу в проводах в студии грамзаписи. Может быть, поэтому в своем особняке Майкл живет в окружении восковых фигур в человеческий рост и целого зверинца из жирафов, лам, змей и обезьян. Мартышка Бабблз даже обедает за одним столом с ним, одетая в выходной фрак.

Майкл упорно не желает вырастать. Даже голос его почти не изменился с детских лет — благодаря стараниям врачей удалось избежать естественной "ломки", и его голосовые связки продолжают выдавать мальчишеский фальцет. Участие Джексона в знаменитом рок-музыкальном проекте в помощь голодающим в Эфиопии в 1985 году, когда Майкл вместе с Лайонелом Ритчи напи-

сал слова и музыку песни "We Are the World" (Мы — это весь мир), некоторые поторопились объявить долгожданными первыми признаками взросления. Но... ничего не изменилось в Майкле за прошедшие пять лет.

В 1987 году вышла его очередная пластинка Bad (Плохой). Несмотря на заявления Джексона, что ее тираж превысит 100 миллионов экземпляров, она продается много хуже, чем Thriller, являясь по сути ее копией. Даже видеоклипы к хитам с Bad сделаны все в том же ключе, что и предыдущие видеоролики Джексона. В принципе это естественно, поскольку шедевры не рождаются поминутно. Но повторить успех Thriller без привлечения нового материала да еще спустя пять лет — практически заранее обреченное на провал предприятие. Ажиотаж вокруг имени Майкла Джексона постепенно спал сам собой, и сохранилась одна лишь стабильная популярность на достаточно высоком уровне.

Американские журналисты, очарованные экстравагантным поведением и видом Майкла, предпочитают считать его "новым типом" поп-звезды, неким высшим существом, сподобившимся победить время и сгладить границы между расами и полами. Так ли это? А может быть, все же Майкл — всего лишь несчастный дэнди, обделенный в детстве играми и игрушками, который за всем своим великолепием преследует одну наивную цель — поиграть немножко в жизнь?..

Андрей КОКАРЕВ

Это правда: человек чувствуетея по нескольким первым словам и жестам, а качество рукописи по двум-трем страницам.

Семнадцатилетняя школьница из Литвы Эляна Шимкявичуте прислала на творческий конкурс в Литинститут им. Горького в Москве тощенькую папочку рассказиков и стала студенткой. Среди них был и рассказ "Палец". Вообще, в ее коротеньких сочинениях было нечто такое емкое о мире и окружающем, что вопрос с будущим образованием решился сразу: лишь бы абитуриентка достойна сдать приемные экзамены по общеобразовательным предметам.

Я даже полагаю, что Эляна стала бы писательницей, если бы и не поступала в Литинститут. Быть писателем — это особое свойство души и ума.

ПРОБА ПЕРА

Эляна ШИМКЯВИЧУТЕ,

18 лет

Литовская ССР

ПАЛЕЦ

РАССКАЗ

Жила-была девочка Алесья, и было ей двенадцать годков от роду. Обыкновенная такая девочка, правда, симпатичная, голубоглазая, но это уже неважно. И был у той девочки на правой ноге один пальчик самый маленький из всех пальчиков. А так как у Алеси все пальцы были и так маленькие, потому что ножки у нее были маленькие, то тот пальчик был до того крохотным, что Алесья, обрезая на нем ноготь, смотрела, как бы не отрезать сам палец. Так вот, этот палец ничем особенным не отличался, у каждой другой нормальной девочки было по одному точно такому же пальчику на обеих ногах, и, вообще, не стоило бы мне ради него писать этот рассказ, если бы с ним не случилась одна глупая история. А случилось вот что. Однажды Алесья, шагая босыми ногами по коридору, нечаянно ударилаеь правой ногой о ножку тумбочки, а главное — попала в нее как раз вот этим самым пальчиком. С Алесей и раньше случались такие истории, но они всегда, к счастью, кончались без каких-либо дурных последствий, но в этот раз Алесе не повезло, а особенно не повезло ее пальчику. Пальчик треснул и сломался, встав перпенди-

Каждый вторник я встречаюсь со студентами своего творческого семинара, среди которых неизменно вижу и Эяну. Она самая младшая. Но для меня она чем-то отличается и еще, так в корзинке с грибами всегда выделяется крепкий и сочный царь грибов — белый.

Кстати, суждения Эяны на семинаре всегда очень неожиданны. Она говорит коротко, но я потом долго размышляю о сказанном ею. Да и вообще я с большим вниманием слушаю высказывания моих студентов о литературе и творчестве друг друга. А что такое преподавание такого сложного и безбрежного предмета, как литература, как не учеба у собственных студентов?

Сергей ЕСИН

кулярно ко всем другим пальцам. Алеся взвизгнула от боли и стала кататься по полу, держась за побитую ногу. Покатавшись так пять минут и чуть-чуть успокоившись, Алеся решила, что ничего страшного не случилось (подумаешь, палец поломала!) и, обвязав ногу какой-то тряпкой, встала и решила идти дальше. Но палец, оскорбленный таким к себе невниманием, решил ее переубедить. При первом же Алесином шаге в ногу так кольнуло, что пришлось опять взвизгнуть и, ухватившись за ногу, опять валяться по полу. "Ну и вредный палец, черт бы его побрал, — подумала Алеся. — И чего он так болит!" И сняв с ноги тряпку, стала его разглядывать. Палец к этому времени успел опухнуть и приобрести какой-то странный желтоватый оттенок, за ним стала понемногу опухать вся нога Алеси. К тому же этот противный палец так ужасно болел, распространяя по всей ноге ноющую боль, что Алеся решила, что так дальше продолжаться не может и что надо с этим пальцем что-то делать. И, встав на ноги, она поскакала на одной ноге в комнату его лечить. Взяв одеколон, она стала тщательно его растирать, надеясь, что вот так боль пройдет, но на палец эта процедура не произвела никакого впечатления, и он продолжал болеть, давая этим Алесе понять, что он нуждается в более основательном лечении. Ну надо же, до чего противный палец!

Тут еще зазвонил телефон. Алеся подняла трубку. Звонила мать.

— Мама, я палец поломала, — заплакала Алеся.

— Какой еще палец? — удивилась мать.

— На ноге палец, самый маленький.

— Ну что я теперь сделаю? Обвяжи его бинтом, — предложила мать.

— Ну и что пользы, что я его обвяжу, он болеть мне перестанет, что ли?

— Не знаю, не знаю, — вздохнула мать. — Я тут знаешь по какому поводу тебе звоню, к нам здесь на работу туфли принесли, черные такие, хорошенькие, одним словом, какие ты хотела. Если хочешь, приходи, примеришь.

— Ну что ты, смеешься надо мной? Я ведь палец поломала.
— Если придешь, собирайся быстрее, а то у меня потом собрание будет.

— Ну ты что, не слышишь? Я ведь палец поломала.
— Да слышу я, слышу! Чего ты заладила — палец, палец! Обвяжи его бинтом, говорю, и приходи.

— Ну и что будет, если я его обвяжу, он ведь все равно болеть перестанет. У меня вся нога опухла, понимаешь?

— Ну что ты бросаешься в истерику из-за какого-то пальца? Делашь из мухи слона!

— Тебе бы побывать на моем месте!

— Так ты не придешь?

— Ну как я к тебе приду, ты что, с ума сошла? Ну принеси эти туфли примерить домой.

— Никуда я их не понесу! Если очень надо будет, сама придешь.

— Но я ведь ходить не могу.

— Вот козлы пройдут, и придешь! А если тебе осенью, как ты говорила, в самом деле ходить не в чем, то ползком приползешь!

И положила трубку. А Алесь заплакала с досады. Ну не хотела мать поверить, что из-за такого пустяка, как сломанный палец, Алесь не может ходить, ведь с ней никогда такие истории не случались. Зато она слышала, что и со сломанными ногами люди ходят. Такие люди, как летчик Маресьев, например, из "Повести о настоящем человеке". У него-то обе ноги были переломаны, и он ходил, правда, не ходил, а полз, но все-таки! А у Алеси что? Какой-то пальчик! Быстро бы его перевязала и ползком до маминой работы. И что бы с ней случилось? Ничего бы не случилось! А раз она такая лентяйка, то пусть на себя и пеняет! Обойдется она и без туфель (в старых походит). Если что — сама виновата, поленилась, не пришла.

А Алесин палец к этому времени стал понемногу терять свой желтоватый цвет, приобретая какой-то изумительный серо-буро-малиновый оттенок. Заметив на своей ноге такую перемену, Алесь враз прекратила реветь и решила, что нужно срочно что-нибудь предпринять. И, не найдя другого выхода, решила наконец и позвонила в "Скорую помощь".

— Алло! — ответил жизнерадостный женский голос.

— Это "Скорая помощь"?

— Да.

— Слушайте, вы бы не могли ко мне приехать, а то я тут палец поломала.

— Чего? — засмеялся женский голос, хотя Алесь и не поняла, что тут смешного.

— Палец, говорю, на ноге сломала!

— Что, серьезно? — Женский голос, похоже, Алесе не верил, а если даже и верил, то считал, что сломанный палец это еще не повод, чтобы гнать к ней на машине с мигалкой, от сломанного пальца еще никто не умирал.

— Ну, приезжайте, пожалуйста, я одна дома и не знаю, что мне

делать; нога болит ужасно, а родители придут нескоро, — умоляла Алеся.

— А вы сами прийти не можете?

— Нет, я этой ногой и пошевелить не могу, лишь сделаю какое-нибудь движение, так колоть начинает, — стала жаловаться, чуть-чуть преувеличивая, Алеся. — Кроме того, нога так опухла, что я не представляю, в какие ботинки я ее всуну.

— Ну, ладно, — смилостивился голос. — Какой ваш номер телефона? Алеся сказала.

— Положите трубку.

Алеся повиновалась.

Через несколько минут раздался телефонный звонок. Алеся подняла трубку.

— Хорошо, — что-то отметил про себя женский голос. — Ваш адрес? "Скорая помощь" приехала сравнительно быстро — через двадцать минут. Когда у Алесиной бабушки был инсульт, ждать пришлось час...

Звонок в дверь, и в квартиру, не дожидаясь, пока ей откроют, вошла высокая блондинка в белом халате.

— Так кто же здесь поломал палец? — шутливо спросила она.

— Я! — сказала Алеся.

— Ты? Ладно. И где же твой палец?

— Здесь, — вытянула ногу Алеся.

— Фу, какой некрасивый! И что, болит?

— Ужасно!

— Так, — задумалась блондинка, — и что же мне теперь с твоим пальцем делать? Не знаешь? Я вот тоже не знаю.

Но она все-таки не растерялась. Немного поведив глазами по потолку, покрыв губы и поправив прическу, блондинка выбрала из аптечки бинт и зачем-то забинтовала Алесе вокруг щиколотки, затем, объявив удивленной девочке, что вот так-то ей будет не больно, предложила пройти в машину.

Алеся, ничего не возражая, встала и поскакала на одной ноге в коридор одеваться. Там, сев на тумбочку, о ножку которой она поломала свой палец, надела куртку, потому что на улице (несмотря на то что было лето) было холодно, и натянула на здоровую ногу ботинок. А вот правую ногу, несмотря на все Алешины старания, ни во что всунуть не удалось, не влезла она даже в сандалины. И поэтому Алеся рассердилась, решила, что если эта нога такая вредная, пусть едет в больницу босой. Она сняла со щиколотки ноги бинт и, привязав им свой несчастный палец к другим пальцам, попрыгала за медсестрой.

В больницу они приехали быстро — через пять минут. Блондинка помогла Алесе дойти до больницы и, объяснив, куда ей следует идти дальше, исчезла в неизвестном направлении. А Алеся попрыгала туда, куда ей указала медсестра.

Надо сказать, что прыгать надо было далеко. Сначала прямо по коридору до поворота, потом вниз по лестнице, потом опять прямо по коридору. Кроме того, пол был ужасно скользкий, того и гляди свалишься и расквасишь нос. Трудно описывать, как Алеся добиралась до

указанного блондинкой кабинета, прыгая на одной ноге и судорожно цепляясь, чтобы не свалиться, руками за стену. Да и единственная здоровая нога грозилась объявить забастовку, то есть отказаться выполнять прямо предназначенные ей функции и стать больной, если Алеся не прекратит над ней издеваться. Алеся, конечно, понимала свою ногу, но ничем не могла ей помочь, потому что у нее не было третьей ноги, а как-то передвигаться ей все же надо было.

Наконец добравшись до нужного кабинета, Алеся с облегчением вздохнула, наивно полагая, что тут все ее мучения и кончились, что тут все так и бросятся лечить ее пальчик. Но никто не бросился, просто напроsto потому, что некому было бросаться — когда Алеся открыла дверь, кабинет оказался абсолютно пустой. Алеся вошла и устало грохнулась на первый попавшийся стул и стала ждать, что сюда вот-вот кто-нибудь войдет. Но никто не входил. Стрелка на Алесиных часах подвинулась на десять минут, пятнадцать, двадцать, тридцать пять — никто не входил. У Алеся понемногу стали сдавать нервы, и тут у нее случилась небольшая истерика, которая прекратилась тут же, как она только вспомнила, что в кабинет все-таки может кто-то зайти. Тут кто-то и зашел. А точнее, зашла полная молодая женщина, врач или медсестра, кто точно, Алеся не смогла определить.

— Здравствуйте, — счастливым голосом сказала Алеся, вытирая слезы, обрадовавшись появлению этой женщины так, как радуется человек, проживший десять лет на необитаемом острове и потерявший надежду на возвращение домой, увидев пару кораблей на горизонте.

Правда, не надо забывать, что если корабль на горизонте и появился, это еще не значит, что он повернет в сторону острова.

Женщина равнодушно посмотрела на Алесю и, ничего не ответив, прошла к письменному столу. Усевшись за стол, женщина покопалась в ящиках, пошелестела какими-то бумагами и, взяв в руки ручку, стала интересоваться, что же беспокоит такую здоровую и так хорошо выглядящую девушку, которой бы пахать и пахать, а она по больницам шляется.

— Палец, — невинным голосом ответила Алеся.

— Какой еще палец? — то ли удивившись, то ли возмущившись, спросила женщина.

— На ноге палец, я его поломала.

— Зачем? — ввела Алесю в полную растерянность женщина, но, сообразив, что ляпнула какую-то глупость, попросила показать палец.

Алеся сняла с ноги бинт.

— Ладно, — сказала женщина, мельком взглянув на палец, и, взяв какую-то бумагу, стала спрашивать и записывать все Алесины анкетные данные.

Окончив допрос, женщина позвонила кому-то по телефону и вышла из кабинета.

Наивная Алеся вообразила, что она пошла готовить гипс или что-то в этом роде. Лишь просидев в пустом кабинете час и два раза за это время расплакавшись, она поняла, что глубоко заблуждается, и расплакалась в третий раз.

Наконец в кабинет вошел какой-то мужчина, позже Алеся поняла, что это, по всей видимости, был хирург. Он спросил Алесю, что у нее случилось, и стал ощупывать ей ногу, немного подергал за больной палец, чем довел Алесю до очередной истерики. Затем он приказал Алесе ждать и, не объяснив чего, тоже куда-то исчез.

Бедная Алеся снова приготовилась ждать два часа, но, к счастью, в этот раз столько ждать не пришлось. Через пятнадцать минут в кабинет вошла старенькая, дряхленькая санитарка.

— Пошли, — сказала она, окинув заплаканную девочку сочувственным взглядом. — Ты иди можешь?

— Нет, — призналась Алеся.

— Тогда обопрись на мое плечо, — добросердечно предложила старушка.

Алеся посмотрела на ее плечи и подумала, что лучше все-таки продолжать издеваться над своей ногой, чем угробить и так еле живую старушку. И Алеся, встав на ноги, попрыгала за санитаркой.

Но вредная нога стала выполнять свои обещания. Она совсем отказывалась прыгать, став деревянной, она, видите ли, не привыкла к таким нагрузкам. И Алесе, не нашедшей другого выхода, пришлось все-таки забыть про всякую совесть и навалиться на бедную санитарку. Но санитарка не выдержала тяжести и упала. За ней свалилась и Алеся, ударившись со всех сил единственной здоровой ногой о стенку. Шагавшая в это время по коридору медсестра обернулась на Алесин крик и, никак не отреагировав на это событие, скрылась в одном из кабинетов. Алеся корчилась и стонала от боли, держась за побитую ногу. "Неужели я ее тоже поломала — думала она. — Почему же она так болит, господи!" Старушка в это время лежала не шевелясь. Заметив такое ее странное поведение, Алеся обернулась и посмотрела на нее повнимательней. О господи, она была без сознания! Алеся оглянулась по сторонам — коридор был абсолютно пустой.

— Помогите! — попробовала крикнуть Алеся, но вместо этого она только что-то невнятно прохрипела.

"Господи, что случилось с моим голосом?" — подумала Алеся и повторила попытку что-то крикнуть, но у нее опять ничего не получилось.

"Что же делать, что же делать? — заплакала Алеся. — Я ее, наверное, убила. И надо было мне на нее опираться! Ах, дура я, дура!"

Алеся подползла поближе к старухе и стала нащупывать на ее руке пульс. Но старуха неожиданно отдернула руку и открыла глаза. Алеся испугалась и отпрянула от нее. Санитарка села, оглянулась по сторонам и стала, отряхиваясь, вставать.

— Здорово мы с тобой шлепнулись! — улыбнулась она изумленной девочке. — Ну, вставай, пошли дальше.

Алеся попробовала ей объяснить, что теперь она точно идти не может, но вместо этого из горла опять вырвалось какое-то невнятное хрипенье. "О боже, что со мной происходит? — испугалась Алеся. — Я, наверное, точно сошла с ума".

— Что с тобой? — спросила ее санитарка. — Ты что, не можешь разговаривать?

Алеся опять попробовала что-то сказать, но у нее опять ничего не вышло.

— Ну, подожди меня тогда здесь, я сейчас сбегаю за врачом.

И она побежала вверх по лестнице. А Алеся осталась ее ждать, сидя на полу.

Вдруг откуда ни возьмись появилась та самая полная врачиха, что Алеся в кабинете допрашивала.

— Ты чего здесь на полу валяешься? — спросила она у Алеся.

Алеся молча на нее посмотрела и ничего не ответила, потому что не могла ничего ответить.

— Ты в рентгеновском кабинете сделала снимок ноги?

Алеся отрицательно покачала головой.

— Тогда вставай и пошли.

Алеся ужасно хотелось ей объяснить, что она идти не может и что она ждет санитарку, которая обещала привести врача, но у нее не было голоса, поэтому она только молча смотрела на врачиху, не зная, что делать.

Заметив, что Алеся никак не реагирует на ее слова, врачиха подошла к ней, подняла ее с земли и, взяв в охапку, потащила по коридору, не обращая внимания на Алесяно мычание, которым она изливала все свои возражения.

Затачив Алеся на первый этаж, врачиха поставила Алеся на ноги. Отчего у той что-то треснуло в левой ноге и от боли помутнело в глазах, и объявила Алеся, что она устала ее тащить и что пусть она дальше идет сама. Алеся ничего ей не ответила, только почувствовала, как вдруг из-под ее ног стала уходить земля. И вот она уже лежит на полу, в глазах темно, голова болит, она, наверное, ее побила, когда падала. Голоса собравшихся вокруг нее женщин доносятся как из подземелья. Ей под нос суют какую-то гадость, она пробует отвернуть нос, но чья-то твердая рука ее держит. Но вот через несколько минут тьма понемногу начинает рассеиваться, и Алеся уже отчетливо видит заботливые лица женщин в белых халатах.

Оказалось, что Алеся, падая, немного расщепила себе голову, ударившись о стену и измазав пол своей кровью. Бедная уборщица, которая только что его вымыла, зло сопит и переминается с ноги на ногу, не в силах понять, какого черта этой корове (то есть Алеся) вообще здесь надо было падать.

Женщины взяли Алеся на руки и понесли в какой-то кабинет. Там ей перевязали голову и сделали какой-то укол. Потом ее отнесли в рентгеновский кабинет сделать снимок обеих ног и после этого потащили обратно вниз гипсовать ноги. Кстати, с левой ногой, оказывается, ничего страшного не случилось, как выразилась одна врач, очень радуясь этому своему умозаключению и приглашая Алеся тоже порадоваться с ней, — просто треснула кость голени. Правда, Алеся не очень обрадовалась этому сообщению, ей вообще было непонятно — обязательно ли она должна была поломать еще одну ногу и разбить голову, чтобы врачи наконец взялись ее лечить. И пока она ломала голову над этим вопросом, медсестра выгнала всех врачей из кабинета и, быстро загни-

совав Алесе ноги, весело объявила, что теперь Алесь смело может идти домой.

— Как идти? — от неожиданности Алесь обрела дар речи.

— Ногами, — посоветовала ей медсестра.

— Но они ведь обе в гипсе!

— Ну не знаю, не знаю, — пожалала плечами медсестра. — Ты далеко живешь?

— В конце города.

— Значит, недалеко. А то я думала, что в какой-нибудь деревне.

— Вы что, с ума сошли? Как я пойду? Вы хоть костыли мне дадите?

— Нет, у нас костылей нет. Кроме того, они денег стоят.

Алесе вдруг ужасно захотелось упасть в обморок или снова разбить обо что-нибудь голову. Но не было обо что.

— Вставай, — подошла к ней медсестра. — Я провожу тебя до выхода.

Медсестра позвала свою подружку, и они обе вытащили Алесю из больницы, посадили на лавочку и ушли.

”И на кой черт я вообще сюда приехала, — подумала Алесь. — Вместо того чтобы вылечиться, еще больше искалечилась. И как мне теперь добраться домой”.

Алесь посмотрела на часы. Уже шесть. Мать, наверное, уже дома. Может, позвонит ей и сказать, чтобы она взяла машину и приехала за Алесей? Вот это идея! Но откуда позвонить?

Вдруг из пункта переливания крови, который находился тут же, рядом с больницей, в маленьком, стареньком домике, вышла молоденькая сестричка и направилась в сторону больницы.

— Извините! — закричала ей Алесь.

Сестричка обернулась и подошла к Алесе.

— Извините, — повторила Алесь, — вы не могли бы позвонить моей матери и сказать, что я здесь сижу на лавочке возле больницы, что у меня обе ноги в гипсе и голова разбита и чтобы она как можно быстрее за мной приезжала.

— Ладно, — перебила ее сестричка. — Какой телефон вашей матери?

Алесь взяла из рук сестрички листок и карандаш и написала свой номер телефона.

— Ждите здесь, — сказала сестричка и побежала звонить.

Через десять минут она прибежала и сообщила Алесе сногшибательную новость, от которой Алесе точно захотелось удариться еще раз головой об стенку. Но опять же Алесе не повезло — поблизости нигде не было стенки. Но Алесь не огорчилась, решив, что в случае чего грохнется головой о цемент. Так вот, оказывается, что мать Алеси никакого понятия не имеет, как ее блудная дочь оказалась возле больницы, но зато ей абсолютно ясно, что она ее туда не посылала, а следовательно, и забирать не поедет, и пусть Алесь сама как хочет добирается до дома, хоть ползком. Сказав все это, сестричка убежала, угостив Алесю, чтобы не очень огорчалась, конфетой. А Алесь осталась сидеть и ломать голову, ища выход из создавшегося положения. Но ее голова была побитая и больная и поэтому отказывалась работать, и никакого выхода Алесь не нашла.

Сидела, сидела Алеся так час, два, три, наступил вечер. Похолода. О, Алеся продрогла и проголодалась. И неизвестно, сколько еще этому никому не нужному ребенку нужно было здесь сидеть. Тут еще стало смеркаться. Наступала ночь. Алесе вдруг стало страшно. "Неужели мне всю ночь придется просидеть на лавочке, — подумала она. — А что будет завтра?"

Тут возле Алеси остановилась белая "девятка", в которой сидели четверо крепких парней. Двое из них вылезли и направились к Алесе.

Алеся вдруг почувствовала острый запах смерти и очень пожалела, что не грохнулась тогда головой о цемент. Эта смерть хоть была бы легкой, а кто мог знать, что задумывают эти парни. Алеся, кажется, у где-то их видела, но, как ни старалась, не могла вспомнить где.

— Смотрите, какой бедный, весь загипсованный ребенок, — сказал один парень.

— Слушайте, мадам, вам здесь одной не скучно? — галантно наклонившись, спросил другой. — Поехали с нами, а?

И парни, подняв Алесю с лавки, понесли в машину. Алеся пробовала кричать, но у нее опять пропал голос, и она вместо этого только шипела.

Втащив Алесю в машину, парни захлопнули дверцы, и машина двинулась.

— О господи, какая злая! — сказал один парень, завязывая царапающуюся и кусающуюся Алесе рот и руки.

— Что у нее такое на ногах? — спросил другой. — Она мне такой совсем не нравится.

И парни, вынув ножи, стали снимать Алесе гипс. Алеся подумала, что сейчас сойдет с ума. Она отчаянно сопротивлялась, хрипя и брыкаясь, хотя и сама знала, что зря. Парни сняли гипс и выбросили его в окно машины.

— Послушайте, ребята, — сказал водитель машины, — прекратите мучить ребенка.

— Ребенок, — обратился он к Алесе, — ты хочешь домой?

— Она молчит, она не хочет, — сказал парень, державший Алесю.

— Ну, почему, если молчит, значит не хочет? — возразил водитель.

— Ведь молчание все-таки знак согласия.

— Эй, ребенок, какой твой адрес? — обернулся он к Алесе.

Алеся молчала.

Парень, сидевший с ней рядом, взял нож и, подставив его лезвием к Алесиной шее, пообещал ее зарезать, если она не скажет.

— Да не надо ее резать! — сказал водитель. — Я телепат, я мысли читать умею, я и так, где она живет, узнаю.

И вот через пятнадцать минут машина подкатила к Алесиному дому. Парни вытащили удивленную Алесю из машины и понесли в дом. Там они поставили Алесю возле ее двери и стали спускаться по лестнице вниз. Но из дома не вышли, хотя входная дверь и хлопнула, они нарочно ею хлопнули, чтобы обмануть Алесю, а сами остались стоять внизу. Алеся отчетливо слышала, как они там о чем-то перешептываются.

Алеся стала звонить в дверь, но никто не открывал. "Неужели мать так крепко спит? — подумала она. — И еще ведь не так-то уж поздно!"

— полдвенадцатого. Мать обычно в это время еще не идет спать”. А вдруг это не ее квартира и не ее дом? Мало ли в городе похожих домов? Парни могли отвезти ее к любому. Алеся испугалась и включила в коридоре свет, чтобы рассмотреть дверь. Но нет, это ее дом и ее квартира. Дверь, обитая черной кожей, с выбитым из гвоздей изображением русалки, резная ручка и номер квартиры, другой такой двери во всем городе нет. Но почему же тогда мать не открывает? Алеся еще раз позвонила.

— Кто там? — послышался заспанный и недовольный голос матери.

— Это я, открой, — сказала Алеся.

— Ты где так долго была?

— Как где? В больнице! Тебя ждала, когда ты приедешь меня заберешь.

— В больнице до двенадцати? Ты кого обманываешь?

— Да, до двенадцати! Сидела на лавочке мерзла.

— Ах ты, бедная! Мерзла, говоришь. Ну и сиди и дальше мерзни, если тебе так нравится! Никто, во всяком случае, тебя туда мерзнуть не посылал!

И мать Алеся, отойдя от двери, пошла спать. Она, конечно же, не была злой женщиной, вы не подумайте! Она совсем не собиралась держать Алесю за дверью всю ночь. Она только так, чуть-чуть, для воспитательного значения. Пусть постоит там немного, подумает о своем нехорошем поведении (видано ли, чтобы девка двенадцати лет пропала где-то до двенадцати?), а потом она, конечно же, ее впустит через каких-нибудь полчаса, если не заснет, конечно.

Но Алеся была ужасно непонятливым ребенком и не поняла таких благих намерений матери, да и ее распухшая от боли голова вообще уже ничего не соображала. Она изо всех сил напрягла свои распухшие больные ноги и стала понемногу добираться до перил лестницы. Добравшись, посмотрела вниз. Подъезд в Алесином доме был большой и просторный, и лестница в нем была расположена так мило, что можно было грохнуться головой вниз хоть с пятого этажа, на котором, кстати, и жила Алеся, и счастливо долететь до первого, размозжив себе голову. Парни внизу перестали шептаться и стали понемногу подниматься по лестнице. Что они еще задумали? Но Алесе ничего уже было не важно, она перегнулась через перила и полетела вниз, шлепнувшись головой о цемент и обрызгав стены кровью. Парни, испугавшись, выбежали из подъезда. Никто не открыл двери на прощальный Алесин крик. Весь дом крепко спал. Утром он проснется, и соседка, раньше всех идущая на работу, упадет в обморок. Потом вокруг Алеся соберется толпа, и кто-то вызовет “скорую помощь”. И так выйдет, что придет на ней та самая блондинка. Испугается, скажет, что трупов они не берут, и уедет. Потом придет милиция, осмотрит труп и, не найдя следов насилия, тоже уедет. Так Алесин труп пролежит еще до обеда, начиная многих раздражать. Алесина мать, конечно же, будет очень плакать. Потом придут родственники и друзья, и все будут тоже очень плакать. И никто не поймет, почему она это сделала. Неужели из-за пальца? Странная девочка Алеся! Странная штука жизнь!

АНТРАКТ, НЕГОДЯИ!

Или дело Мастера живет и побеждает



МЫ ЖИВЕМ в странное время, когда особенно сильны воспоминания и предчувствия.

Все чаще и настойчивее всплывают в памяти трагические и забавные сцены последних десяти лет, местами — поучительные, местами — вызывающие ностальгию или — умиление по случаю былой наивности, или — радости по поводу того, что "мы все-таки умнеем год от года".

Все настойчивее и чаще оказывается, что самые мрачные наши подозрения — не беспочвенны; и отчаянно ернический кооперативный значок "Дальше будет еще лучше" воспринимается уже не как милая острота, а как серьезное предупреждение, от которого не до смеху; и чтобы верно разобраться в непрерывной чере-

де дурных предзнаменований, совершенно незачем прибегать к помощи доморожденных кассандр — и так все ясно.

Сколь бы ни были грозны и многозначительны нынешние повороты общественной жизни и навороты общественного сознания, есть ощущение, что все это лишь пересменка между двумя великими по-своему эпохами — прошедшей и грядущей. Лишь оглушающая пауза между двумя действиями одной грандиозной драмы. Антракт.

... "Антракт, негодяи!" — прочитал я на стенке подъезда в легендарном доме № 302-бис по Садовой, где находится "нехорошая квартира", пристанище героев "Мастера и Маргариты". И пришло в голову, что эта фраза из великого романа в год столетия Михаила Афанасьевича Булгакова звучит удивительно, просто до смешного актуально. Совпало так? Или здесь стоит поискать глубокую метафизическую закономерность? Ведь это с нашей сегодняшней колокольни третье десятилетие двадцатого века, когда создавался роман, выглядит достаточно недвусмысленно. Сам же писатель, как явствует, к примеру, из биографии, написанной Мариеттой Чудаковой, с трудом разбирался в происходящем. Он неплохо представлял себе прошлое и, обнажив голову, распрощался с ним в "Белой гвардии", "Записках молодого врача", "Беге". У него не было никаких иллюзий относительно будущего (профессор Преображенский мог превратить Шарикова обратно в собаку, но перед Швондером он бессилён). А вот настоящее вызывало по меньшей мере расте-

рянность. Поэтому мир героев позднего Булгакова — перевернутый мир. В котором нелюдь гораздо более естественна, чем земные обыватели. В котором лишь двое по-настоящему живых людей — Маргарита и Мастер, да и тем уготовлена странная тихая смерть. Мир, который не может изменить даже прекрасный всеочищающий дождь, и поэтому за последней 32-й главой необходимо следует Эпилог, где все возвращается на круги своя.

ВСЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗВРАЩАЕТСЯ. И сегодняшние девочки и мальчики, может быть, потому сидят вечерами на обшарпанных ступеньках лестницы дома № 302-бис, что молчалины, кабанихи, верховенские, передоновы, швондеры и иная нечисть по-прежнему блаженствуют на свете. А для темно-фиолетового рыцаря и маленького человека в черной шапочке осталось место лишь в одном московском подъезде.

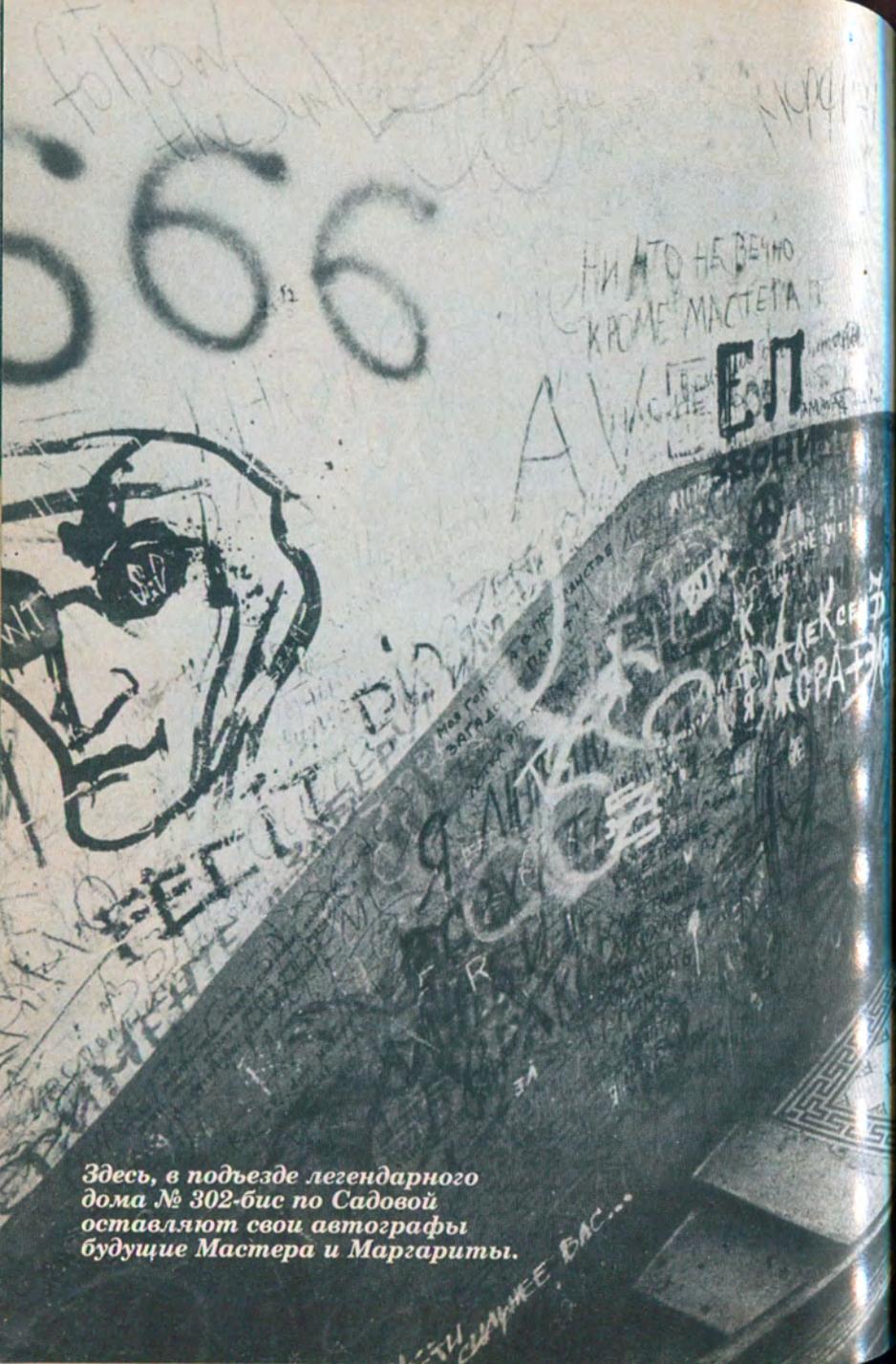
Они, пятнадцати-шестнадцатилетние Мастера и Маргариты, как правило, романов не пишут. Охотнее пишут на стенах, ибо, что бы там ни говорили бдительные работники дэза, настенное творчество в высшей степени неподцензурно. Изучать эти граффити можно часами. Когда-нибудь — чем черт не шутит! — здесь откроется не только мемориальный музей Михаила Булгакова, но и единственный, возможно, в стране мемориал Свободы Слова. И вот что примечательно: только самый дотошный исследователь среди обращений к Воланду и Цюю, Бегемоту и Башлачеву, Фэготу и Леннону обнаружит слова,

Рисунки Геннадия НОВОЖИЛОВА

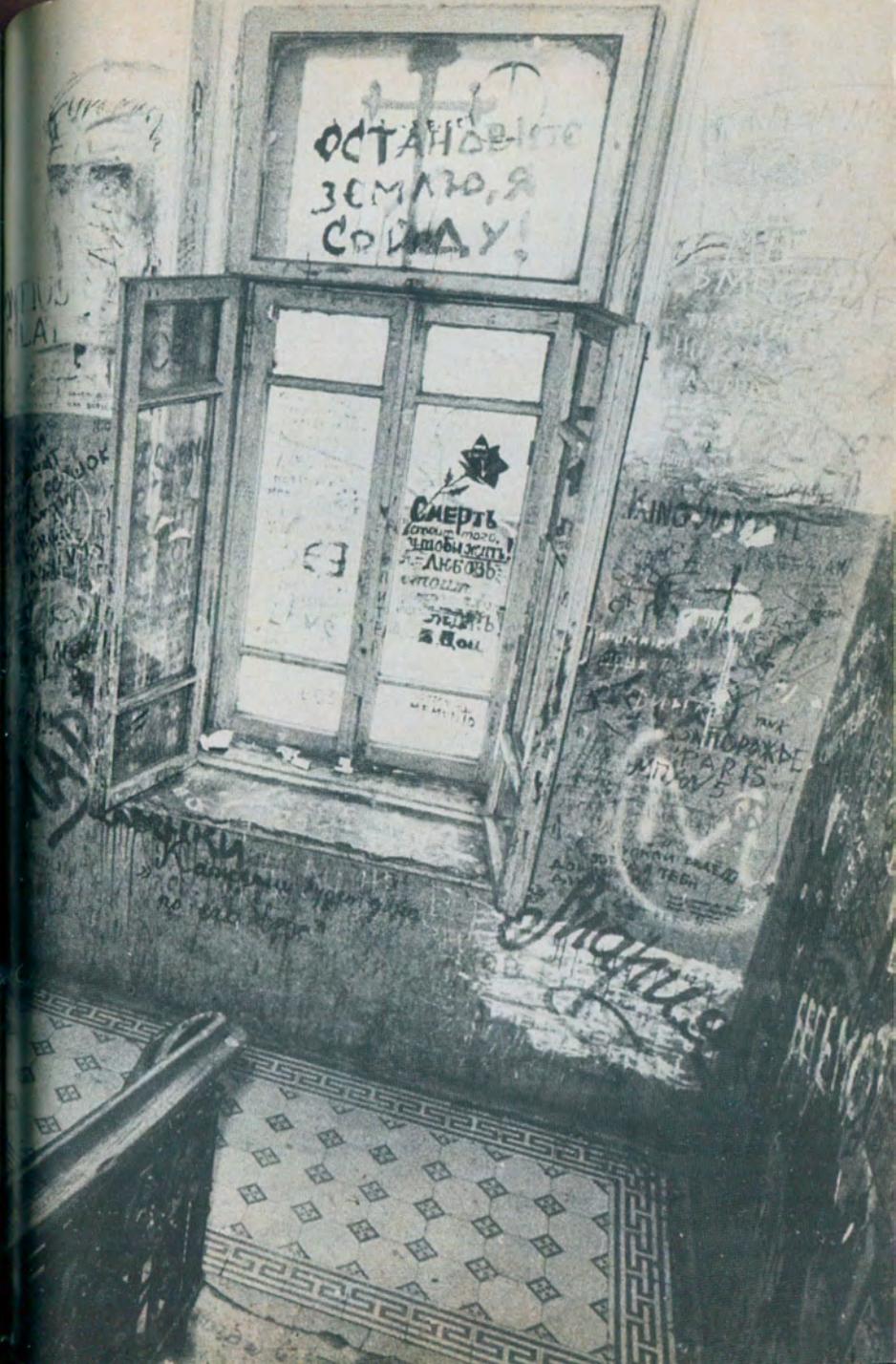


*И сегодня Маргарит
по-прежнему хоть отбавляй.
Мастеров что-то не видно.*





Здесь, в подьезде легендарного
дома № 302-бис по Садовой
оставляют свои автографы
будущие Мастера и Маргариты.



ОСТАНОВИТЕ
ЗЕМЛЮ, Я
С ОМЯУ!



СМЕРТЬ
КОМУ-ТО МОЖЕ,
УДОБИТЬСЯ
КАК БОЖЬ
УМОЛЮ
ПЕЧАТЬ
В БОУ

Мастер

*Пока помнят и любят кумиров –
дело Мастера живет и побеждает.*



адресованные Мастеру. Надеюсь, обнаружит, хотя мне этого так и не удалось. И над этим стоит поразмышлять.

С одной стороны, все довольно тривиально. По большому счету фанаты Булгакова не слишком отличаются от фанатов Высоцкого, "Битлз" или Аллы Пугачевой.

Природа юношеского фанатства едина, и про нее уже несметно писано-переписано разнообразных публицистических рассуждений и диссертаций по психологии. Понятно и то, что забавные обороты из сатанинской шайки с их безудержным хулиганством гораздо ближе душе пятнадцатилетнего, нежели незаметный обитатель сто восемнадцатой палаты клиники доктора Стравинского — Мастер. Он слишком серьезен, не сыплет остротами, не учиняет веселых погромов. Более того, он зачастую оказывается на периферии действия романа, ему достается роль вспомогательная, почти служебная, — быть связующим звеном между миром подлунным и потусторонним, объединяя их в общую сумасшедшую кутерьму, но в ней не участвуя. Не так уж многие знают, что роман получил свое окончательное название, а образ Мастера окончательно сложился, когда Елена Сергеевна Булгакова сшила мужу черную шапочку... Естественно, все эти тонкости творческого метода и биографические подробности нашим тинэйджерам не интересны.

Но — лишь на первый, достаточно поверхностный взгляд. Попробуем копнуть глубже.

НАВЕРНОЕ, и до меня многие заметили, что большинство при-

ключений, описанных в "Мастере и Маргарите", чрезвычайно сценичны, театральны. На сотнях страниц разыгрывается дьявольская комедия, буффонада, участники которой талантливо и с удовольствием играют. И даже голова несчастного Берлиоза, катящаяся под откос, кажется муляжем, и кровь застреленного барона слегка отдает клюквенным соком, и пальба, учиненная Бегемотом в квартире № 50, похоже, велась из игрушечных пугачей.

Искусство, как и его восприятие, зачастую существует, не сливаясь со временем, но противоречит ему. Живет вопреки. Поэтому мое поколение, родившееся в середине шестидесятых, воспринимало роман несколько по-иному. Мы, конечно же, хохотали до упаду, читая про гаерские развращения Коровьева, но гораздо больше нас волновала философия притчи про Пилата и Иешуа. И самая земная, самая человеческая и, по сути, незатейливая, почти обывательская история жизни, любви и смерти Мастера. Ибо финал ее — полет на черном коне над спящей землей и высокое право даровать прощение неприкаянному пятому прокуратору Иудеи — заставлял задуматься, быть может, гораздо больше, чем ставшая хрестоматийной сентенция "рукописи не горят".

Нам по горло хватало театра в жизни. Ну помните — расцвет застоя, клоунские речи по извлеченной из кармана бумажке, постановочные жизнерадостные улыбки на обложках журналов, картинные лобзания у трапа самолета. Бездарные актеры, пытающиеся спасти бездарный сцена-

рий. Бездарные зрители, переглядывающиеся с всепонимающей улыбкой, но продолжающие оглушительно аплодировать. В этом абсурде хотелось чего-то предельно простого и естественного. И девушки втайне мечтали о судьбе Маргариты не потому, что ей целовали колена отравители и клятвопреступники, а потому, что на ее долю выпала такая прекрасная испепеляющая любовь. И молодые наши художники, поэты и музыканты уединялись в утлых подвалах, попадали, вслед Мастеру, в психушки не потому, что стремились угодить в избранные, а потому, что хотели творить искренно и безоглядно.

Сегодня Маргарит по-прежнему хоть отбавляй. А вот Мастеров что-то не видно. Но я решительно далек от мысли о том, что создателей настенного творчества в парадном следует упрекнуть в невнимательном прочтении любимого романа и вообще в легкомыслии. Просто время изменилось. Время стало серьезным и деловитым, оно плодит (не в упрек им будет сказано) спокойных и трезвых прагматиков. Которым тоже надо отдохнуть. Помечтать о неземном и несерьезном, подурчаться, поувлекаться чертовщинкой — не той, коммерческой, прущей с телеэкра́на и подмостков районных домов культуры, а другой — веселой и совсем даже не злошей.

Впрочем, вполне вероятно, что я слишком категоричен. Ведь разве и Цой, и Башлачев, и Леннон, соседствующие на стенах подъезда с Воландом, — не Мастера?

Оказалось, что именно они нынче "живее всех живых" и их "руко-

писи" действительно не подвластны огню, хотя их подвалы и оккупированы вездесущими алоизиями могоарычами, самыми живучими из всех негодяев. Кумиров помнят и любят, а значит, дело Мастера живет и побеждает, уж простите за такой парафраз ветхого лозунга.

НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО подкатило к столетию писателя чисто по-булгаковски. В одну ночь превратило заветные "стольники" и "полтинники" в бумажки, ценные не более чем этикетки от минералки. "Сдавайте валюту!" — это тоже к нам относится. "А это нас арестовывать идут" — слава Богу, пока не столь актуально, но патрули под окнами уже появились. И керосин, судя по всему, скоро будет впору хлебать. Еще свежи воспоминания, а предчувствия с каждым днем все навязчивее. А посему —

АНТРАКТ, НЕГОДЯИ! Может быть, нам дана последняя передышка перед действием, за которым — лишь падающий занавес и истерический туш. Как бы не проглядеть ее, не профукать. Чтобы надпись на стене в подъезде все-таки не стала самым честным и свободным из всего, что пишется. Например, такая (она, кстати, уже появилась): "Воланд! Приезжай!!! Слишком много всякой дряни развелось!" Главное же — беречь своих Мастеров. Если они будут живы, помощь нечистой силы в борьбе с отечественной дрянью, надеюсь, не понадобится. Сами как-нибудь разберемся.

Алексей КОСУЛЬНИКОВ

РОБЕРТ К. МЭЙССИ

НИКОЛАЙ
И АЛЕКСАНДРА

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с английского Валентины ЗАХАРОВОЙ

ЖЕНИТЬБА

В Гатчине Николай нашел свою семью в состоянии тревоги относительно здоровья царя. Его мучили головные боли, бессонница и слабость в ногах. Доктора, к которым обратился царь, рекомендовали отдых в Крыму.

В теплом воздухе Крыма, наполненном ароматом винограда, состояние царя стало улучшаться. У него появился аппетит. Он начал принимать солнечные ванны и даже спустился на прогулку к берегу моря. Но это улучшение было временным. Через несколько дней опять начались бессонница, боли в ногах и царь слег в постель. Его посадили на строгую диету и, что для него было особенно тяжело, запретили мороженое. Однажды его шестнадцатилетняя дочь Ольга, сидевшая у его постели, услышала шепот отца: "Дорогая девочка, я знаю, что в соседней комнате есть мороженое. Принеси его сюда, но только незаметно, чтобы никто не увидел". Ольга поти-

хоньку принесла ему целую тарелку, и царь был в восторге. Доктора продолжали лечение, а царю становилось все хуже и хуже.

Полный мрачных предчувствий, Николай попросил Аликс приехать в Ливадию. Она приехала тут же, воспользовавшись обычным поездом, как ординарный пассажир. Подъезжая к Крыму, Аликс послала телеграмму, в которой просила ускорить церемонию ее перехода в православие. Николай не мог скрыть своего счастья. "Господи, какая радость, что она приезжает в мою страну и будет рядом со мной, — пишет он. — Горе и страх, охватившие меня, наполовину исчезли".

Десять дней после приезда Аликс в Ливадию продолжалась агония умирающего царя. И вот 1 ноября 1894 г. после полудня Александр III скончался.

Никто не понимал значения кончины царя лучше, чем 26-летний молодой человек, унаследовавший его трон. "Я видел слезы, застилавшие его голубые глаза, — вспоминал великий князь Александр, шурин Николая. — Он

Продолжение. Начало в № 4

*Николай II
и Александра Федоровна
с дочерьми
Ольгой и Татьяной.*



взял меня за руку и повел вниз, в свою комнату. Мы обнялись и заплакали. Он не мог собраться с мыслями. Он знал, что теперь он — император. Бремя этого ужасающего для него факта раздавило его”.

”Сандро, что мне делать? — восклицал он патетически. — Что будет со мной, с тобой, с Ксенией, с Аликс, с мамой и с Россией? Я не подготовлен к тому, чтобы быть царем. Я никогда не хотел этого. Я ничего не понимаю в делах управления. Я даже не представляю, как говорить с министрами”.

”Даже в минуты огромного горя Господь посылает нам светлое, радостное счастье, — писал Николай. — В десять часов в присутствии только членов семьи моя дорогая Аликс была обращена в православие”. После церемонии Аликс, Мария Федоровна и Николай причастились святых тайн и, как сообщает Николай, ”Аликс замечательно отчетливо прочла молитвы”. Когда они вернулись во дворец, новый царь издал свой первый имперский декрет. В нем провозглашалась новая вера, новый титул и новое имя бывшей принцессы Алисы Гессенской. Внучка королевы Виктории, лютеранка, превратилась в ”истинно православную великую княжну Александру Федоровну”.

Свадьба, первоначально назначенная на весну, должна была по настоянию Николая состояться раньше.

Изнемогая, взвалив на свои плечи непосильное бремя новых обязанностей, Николай не собирался допустить, чтобы единственный человек, который вливал в него уверенность, мог отдалиться от него.

”Мама, я сам и многие из нашего окружения считают, что лучше всего было бы отпраздновать свадьбу здесь, во дворце, пока пап еще находится под этой крышей”, — отмечает Николай в своем дневнике. И далее: ”Но в дядя против этого, считая, что должен венчаться в Петербурге после похорон”.

Свадьба состоялась 26 ноября через неделю после похорон. Эта дата была выбрана в связи с днем рождения вдовствующей императрицы Марии Федоровны. По такому случаю протокол разрешал короткое ослабление траура. Одетые в белое Александра и Мария Федоровна вместе проследовали в карете по Невскому проспекту в Зимний дворец.

Около часа дня они стали мужем и женой.

Александра вся светилась от счастья. ”Она выглядит замечательно красивой”, — сказала принцесса Уэльская. Георг, принц Йоркский, писал своей жене: ”Я думаю, что Ники очень повезло. У него прелестная, очаровательная жена, и я никогда не видел, чтобы кто-нибудь был более влюблен и более счастлив, чем эти двое. Я сказал, что я желаю им обоим самого большого счастья, какое я только знаю, быть такими же счастливыми, как мы с тобой. Ты согласна со мной?”

Эта свадьба положила начало непоколебимо счастливому супружеству, которое продолжалось до последних дней их жизни. В нем нашли свое воплощение высоко нравственные, светлые и суровые идеалы викторианства. В то же время этот союз был основан на сильной и страстной физической любви. В день своей свадь-

бы, вечером, перед сном Александра записала в дневнике своего мужа: "Наконец мы вместе, связанные на всю жизнь. А когда эта жизнь кончится, мы встретимся опять, но в другом мире и останемся вместе в вечности. Твоя-твоя". На следующее утро под влиянием возникших в ней новых чувств она написала: "Я никогда не могла бы поверить, что возможно такое высшее счастье в этой жизни, такое чувство слияния между двумя смертными людьми. Я люблю тебя. В этих трех словах — вся моя жизнь".

В середине ноября 1895 г., в день, когда у Александры начались роды, артиллеристы в Кронштадте и Петербурге были выстроены у своих пушек. Салют в 300 выстрелов должен был означать рождение сына, 101 выстрел означал появление девочки. Александра очень страдала, и роды были долгими. В конце концов салют начался. 39... 100... 102... Но 102-го выстрела не было. Первым ребенком, родившимся у царя Николая II и императрицы Александры Федоровны, была великая княжна Ольга Александровна. Она весила 9 фунтов.

Радость от благополучного рождения первенца рассеяла все размышления о важности появления сына или дочери. Когда отцу 27 лет, а матери — только 23, кажется, что впереди так много времени, чтобы иметь последующих детей. Александра сама нянчила, купала ребенка, пела колыбельные девочке, чтобы она уснула. Когда Ольга спала, мать сидела рядом и вязала распашонки, чепчики и носочки для нее. "Ты не можешь представить, как мы счастливы. У нас теперь есть такое маленькое,

такое хрупкое существо, о котором мы должны заботиться", — писала императрица одной из своих сестер.



КОРОНАЦИЯ

Коронация русского царя была жестко регламентирована традициями, уходящими в глубокую древность. Она всегда проходила в Москве. Эта церемония, такая значительная и торжественная для всей нации, не могла быть связана с Петербургом, искусственно европеизированной столицей, заложенной Петром Великим. По традиции некоронованный царь мог въехать в Москву только в день коронации. Прежде чем въехать в Москву, Николай и Александра проводили время в

единении в посте и молитве в Петровском дворце, находившемся под Москвой.

Утром перед коронацией небо было безоблачно голубым. Появившиеся на улицах города глашатаи, одетые в средневековые одежды, выкрикивали: "Сегодня, 26 мая 1896 года, будет коронован новый царь". В Кремле слуги растелили малиновый ковер на ступенях знаменитого Красного крыльца, на пути к Успенскому собору, где должна была состояться церемония. Напротив Красного крыльца был сооружен огромный деревянный помост для тех гостей, которые не могли попасть в собор.

Процессия на Красном крыльце открывалась священниками с длинными бородами, одетыми в золотые одежды. Затем появилась императрица Мария Федоровна в платье из шитого белого бархата. Ее шлейф несли двенадцать человек. И наконец на самой высокой ступени Красного крыльца появились Николай и Александра. На нем была цвета морской воды форма офицера Преображенского полка с красной лентой через грудь, от плеча до пояса. Рядом с ним — Александра в серебристо-белом русском придворном платье с красной лентой через плечо. Спустившись с Красного крыльца, Николай и Александра остановились перед священниками, окропившими их святой водой. Затем они произнесли молитву перед иконой.

Прямо напротив алтаря, в центре собора, для царя и его жены были поставлены два коронационных кресла. Николай сидел на бриллиантовом троне царя Алексея Михайловича, покрытом драгоценными камнями

и жемчугом. Александра восседала рядом с мужем на знаменитом троне из слоновой кости, привезенном в Россию в XIV веке из Византии невестой великого князя Ивана Софьей Палеолог. Церемония коронации длилась пять часов.

В конце церемонии только что коронованные монархи в парчовых мантиях, на которых были вышиты двуглавые орлы, вышли из храма и поднялись опять на Красное крыльцо. С крыльца они три раза в разные стороны поклонились толпе. В ответ из сотен глоток вырвался могучий крик. Через весь город прокатился гром выстрелов из жерл сотен пушек. И над всем этим, заглушая все звуки, начался перезвон тысяч московских колоколов.

Среди семи тысяч гостей, приглашенных на банкет после коронации, вместе с великими князьями, королевскими принцами, эмирами, иностранными послами одна комната была отдана представителям народа. Они были здесь по праву наследования как потомки тех, кто на протяжении истории России участвовал в спасении жизни царя. Самыми почитаемыми были потомки Ивана Сусанина, старого крестьянина, который под пытками отказался показать полякам место, где скрывался Михаил Романов, первый царь из этой династии. Перед каждым из тысячи гостей, севших за стол, был положен свернутый в трубку пергамент, перевязанный шелковым шнурком. Это было написанное замечательным средневековым шрифтом меню. Оно состояло из следующих блюд: борщ, суп с перцем в горшочке, голубцы с мясом, отварная рыба, тушки молодого барашка, фазаны

в сметанном соусе, салат, спаржа, фрукты в вине, мороженое. По древней традиции вдвоем на почетном возвышении под балдахином обедали Николай и Александра.

Следующий после коронации день по традиции принадлежал населению Москвы. Великий князь Сергей, губернатор Москвы, организовал грандиозный праздник в пригороде Москвы, который должны были посетить Николай и Александра. В качестве сувениров были приготовлены горы эмалированных кружек с царским клеймом, которыми были нагружены целые телеги. Власти заказали для праздника сотни литров белого пива. Ходынка — так называлось поле, выбранное для праздника, сплошь перерезанное сетью траншей и ям, поскольку здесь проводились учения войск Московского гарнизона, — была единственным местом, способным вместить сотни тысяч москвичей, собиравшихся прийти сюда, чтобы увидеть царя и царицу. Накануне вечером тысячи людей начали двигаться из города по направлению к Ходынке, не думая о ночлеге. Перед закатом солнца пятьсот тысяч человек находились на поле. Многие из них уже были пьяны. Начали прибывать вагоны, груженные кружками и пивом, останавливаясь около деревянной изгороди. Толпа в приподнятом настроении, с интересом разглядывая это, продвигалась вперед. Вдруг возник слух о том, что вагонов пришло намного меньше, чем предполагалось, и пива хватит только для тех, кто стоит впереди. Люди побежали. Единственный эскадрон казаков, находившийся здесь, был отброшен в сторону. Люди оступались и падали в ямы.

Спины и лица женщин и детей, сбитых толпой бегущих, толкающихся людей, топтали ногами. Их рты и ноздри были наполнены грязью. Изуродованных и задыхающихся людей на земле пинали сотни неостанавливающихся ног.

С появлением новых объединенный казаков Ходынка напоминала поле сражения. Сотни людей погибли, тысячи были ранены. К полудню городские больницы были переполнены пострадавшими, и все знали о случившемся. Николай и Александру это известие потрясло. Первым импульсивным желанием царя было немедленно закрыться в уединении и молитве. Он заявил, что не сможет посетить бал, который в этот вечер давал французский посол маркиз Монтебелло. Однако, как всегда, вмешались дядья во главе с великим князем Сергеем Николаевичем. Дело в том, что для предстоящего бала французское правительство прислало из Парижа и Версаля бесценные ковры, драгоценную серебряную посуду, а также сотни тысяч роз с юга Франции. Великие князья настаивали на том, что отсутствие Николая на балу не изменит трагического характера событий на Ходынском поле и в то же время нанесет оскорбление Франции, единственному союзнику России в Европе. К несчастью, Николай дал себя уговорить и согласился с великими князьями.

Выражая свое сочувствие и горе по поводу случившегося, Николай и Александра провели целый день, посещая одну больницу за другой. Николай распорядился, чтобы погибших похоронили в индивидуальных гробах за его счет, а не в общей могиле, как это делалось при таких массовых несчастьях. Из своих собственных средств царь

заплатил семье каждого пострадавшего тысячу рублей. Но никакие акты сострадания не могли загладить ужасный характер этого события. Для широких слоев русского населения Ходынка стала предзнаменованием того, что новое царство будет несчастливим. Более искушенные и злобные воспользовались этой трагедией для того, чтобы обвинить самодержавие в жестокости, а молодого царя и его жену — "немку" — в высокомерии и глупости.

НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ

Дома Николай погрузился, как он пишет, "в чудовищную работу, которой я боялся всю мою жизнь". Он штурмовал горы бумаг, доставляемых ему каждый день.

На первых порах в соответствии со своим опытом и чувствами он искал руководства и помощи у Марии Федоровны.

Тем не менее Николай не во всем следовал рекомендациям матери. Когда она попросила в долг миллион рублей из государственной казны для одной из великих княгинь, Николай ответил ей сурово, с оттенком нравоучения: "Я должен поговорить с тобой, дорогая мама, о некоторых неприятных вещах. ...Это касается кредита из средств государственного банка в миллион рублей. Я считаю своим долгом сказать тебе прямо, что это невозможно. Я хотел бы посмотреть на эту просительницу — посмела ли бы она хотя бы намекнуть об этом папе; никто не может сомневаться в его ответе. Нечего сказать, хорошие были бы порядки в казначействе, если бы в отсутствие Витте (а он сейчас в отпуске) я дал бы миллион одному, два миллиона — другому и т.д. Одна

из самых замечательных черт в истории царствования дорогого папы — устойчивое положение наших финансов. Однако это легко можно разрушить в течение нескольких лет".

Вступив на престол, Николай неожиданно стал главой дома Романовых и управляющим огромными богатствами императорской семьи. Его доходы, составлявшие 24 млн. золотых рублей в год (12 млн. долл.), включали в себя частично поступления из казны, а также прибыль, получаемую от огромных сельскохозяйственных угодий, исчисляемых миллионами гектаров, в том числе богатейших виноградников, зерновых и животноводческих хозяйств, хлопковых плантаций. Многие из этих угодий были приобретены Екатериной Великой. В 1914 г. стоимость земель, принадлежащих Романовым, оценивалась в 50 млн. долл. Еще 80 млн. долл. было вложено в несметную сокровищницу драгоценностей, собранных за три века царствования династии. Наряду со сказочной императорской короной в этой сокровищнице находились знаменитый бриллиант "Орлов" в 194, карата, вставленный в императорский скипетр, "Лунный" бриллиант в 120 карат, "Полярная звезда" — превосходный рубин в 40 карат и т.д.

Несмотря на такое богатство личный кошелек царя зачастую был пуст. Существовало восемь дворцов, содержание которых требовало расходов: Зимний и Аничков — в Петербурге; Екатерининский и Александровский — в Царском Селе; далее — Петергоф и Гатчина; императорские апартаменты в Московском Кремле и Ливадийский дворец в

Крым. Нужно было выплатить зарплату, прокормить, обеспечить униформой и выдать соответствующие подарки к отпуску 1500 должностным лицам и слугам, занимающимся содержанием этих дворцов. Расходы требовались и на содержание императорских яхт и специальных железнодорожных поездов. Содержание трех императорских театров в Петербурге, двух — в Москве, императорской Академии художеств и Императорской балетной труппы из 153 танцовщиц и 73 танцовщиков оплачивалось из личных средств царя. Даже маленькие ученики и ученицы балетного училища в темно-синих платьях и костюмах с серебряными лирами, украшавшими их воротнички, тренировавшиеся в прыжках и антраша, считались членами царского дома.

Вдобавок к этому члены огромной императорской семьи получали специальные пособия от царя. Каждый великий князь — 100 тыс. долл. в год, великая княгиня — 500 тыс. Бесчисленные больницы, сиротские дома, приюты для слепых и т.д. зависели от царской благотворительности. Поток частных просьб о финансовой помощи переполнял личную канцелярию царя. К концу года личные средства царя иссякали и кошелек его был пуст. Иногда в этом затруднительном положении царь оказывался еще раньше — к осени.

В управлении как всей империей, так и своей семьей Николай следовал тем нормам и правилам, которые сложились в период царствования его отца и в историческом прошлом России. Николай был глубоко русским человеком, вплоть до малейших деталей своей личной жизни. Во время работы он надевал простую русскую ко-

соворотку, мешковатые свободные брюки и сапоги из мягкой кожи. Одно время он носился с идеей заменить современный официальный придворный костюм на кафтаны времен Ивана Великого и Ивана Грозного. И расстался он с этой мыслью лишь узнав, что стоимость необходимых для того платья украшений превосходила возможности его придворных. Он предпочитал говорить по-русски, несмотря на то что его английский, французский и немецкий были превосходны. Дома он говорил по-русски со своими детьми и по-русски же переписывался с матерью. И только с Александрой Федоровной, недостаточно свободно владевшей русским, он говорил и переписывался по-английски. Несмотря на то что французский был общепризнанным языком высших классов русского общества, Николай требовал, чтобы министры докладывали ему по-русски, и был недоволен использованием ими даже отдельных иностранных слов и выражений. Что касается культуры, то и здесь Николай был заядлым националистом. Особенно он любил Пушкина, Гоголя и романы Толстого, был поклонником Чайковского и ходил слушать его музыку — оперы, балеты — несколько раз в неделю. Его любимым балетом был "Конек-Горбунок", в основе которого лежит русская народная сказка.

Николай II работал без помощников, один, что отличало его от большинства монархов, глав государств и даже от собственной жены. У него не было личного секретаря. Он предпочитал все делать сам. На его письменном столе лежал большой календарь, в котором он аккуратно собствен-



ной рукой записывал свои дела, назначенные на каждый день. Когда приходили официальные бумаги, Николай распечатывал их, читал, подписывал и сам запечатывал, чтобы отправить.

К большому разочарованию русских либералов, надеявшихся на то, что смерть Александра III может привести к изменению характера самодержавия, Николай быстро дал понять, что будет твердо придерживаться принципов своего отца. Он подчеркивал это еще до коронации.

В области международных отношений Александр III обеспечил России 13 мирных лет. Однако не считая нужным познакомить своего наследника с основными фактами, определяющими международное положение России. Так, Николай познакомился с условиями франко-русского союза лишь тогда, когда взойшел на престол. Ставя перед собой цель не допустить военных столкновений и сохранить мир, не считая возможным и достаточным полагаться в этом только на военный союз, Николай обратился с полным драматизма политическим призывом о разоружении и установками "всеобщего мира". Вслед за этим призывом в Гааге был создан постоянный арбитражный суд. В августе 1898 г. Россия разослала правительствам всех государств ноту, в которой говорилось о тяжелых экономических, финансовых и моральных последствиях гонки вооружения.

В 1905 г. Николай сам обратился в международную следственную комиссию Гаагского суда с тем, чтобы уладить инцидент между Великобританией и Россией на Доггер-банк. В 1914 г., накануне мировой войны, русский царь об-



ратился к кайзеру с просьбой помочь ему разрешить спор между Австрией и Сербией через международный суд в Гааге.

Европа была изумлена тем, что такая необычная, такая ошеломляющая идея о необходимости всеобщего мира родилась в России, которую считали полуазиатским, полуварварским государством и обвиняли в отсутствии богатой вселенской культуры, присущей будто бы лишь европейским странам.

В действительности же уже первые годы царствования Николая привели к блистательным интеллектуальным и культурным свершениям, получившим затем название "русского ренессанса", или "серебряного века" России. Брожение, рождающее высокое творчество, новые идеи охватили не только политику, но и философию, науку, музыку, искусство.

В литературе это был Антон Павлович Чехов, создававший пьесы и короткие рассказы, ставшие частью мировой классики. В 1898 г. Константин Станиславский впервые открыл двери знаменитого Московского художественного театра, и повторная постановка пьесы А. Чехова "Чайка", написанной в 1896 г., определила успех театра. Затем последовали пьесы "Дядя Ваня" (1899 г.), "Вишневый сад" (1904 г.). С ними утвердилась реалистическая концепция театральной игры и началась новая эра в истории театра.

В консерваториях Москвы и Петербурга — учебных заведениях высочайшего класса — великие преподаватели сохраняли прекрасные традиции, передавая свое искусство талантливым ученикам. Симфоническим оркестром в

Санкт-Петербурге дирижировал Римский-Корсаков, автор великолепной оперы "Золотой петушок". Вместе с тем Римский-Корсаков был руководителем молодого Игоря Стравинского, который в свою очередь создал для Дягилева замечательно оригинальную музыку балетов, в том числе "Жар-птица" (1910 г.), "Петрушка" (1911 г.), "Обряд весны" (1913 г.), оказавших гигантское влияние на всю музыкальную культуру XX века. Позднее, в 1914 г., окончил консерваторию Сергей Прокофьев, еще один ученик Римского-Корсакова. Среди выходцев из России были такие великие музыканты, как Сергей Рахманинов, Владимир Горовиц, Ефрем Цимбал, Яша Хейфиц. В Москве Сергей Кнушевицкий дирижировал созданным им самим симфоническим оркестром. В 1899 г. состоялся дебют Федора Шаляпина, несравненного баса, ставшего кумиром оперной сцены.

Среди населения России того времени музыка и в том числе опера были любимы и популярны. В Киеве, Одессе, Варшаве, Тифлисе существовали свои оперные театры, сезоны которых продолжались 8—9 месяцев. Только в одном Петербурге было 4 таких театра. Один из них, Народный дом, или Народный дворец, был создан Николаем в 1901 г.

Понимая, что простой народ не в состоянии посещать существующие роскошные драматические и оперные театры, царь построил огромное здание, в котором размещались театры, концертные залы, рестораны. Была установлена чисто символическая плата за вход — всего 20 копеек. В то же время сюда приглашали лучшие

оркестры, выдающихся актеров и музыкантов. Петербургское общество, падкое на все новое, толпой валило в Народный дом.

Между тем семья молодого царя быстро увеличивалась. С интервалами в два года родились еще три дочери. В 1897 г., когда Александра была беременна второй раз и чувствовала себя плохо, вдовствующая императрица советовала: "Она (Александра) должна утром до завтрака в постели попробовать есть ветчину. Это действительно помогает от тошноты. Я пробовала сама — это полезно и питательно. Мой дорогой Ники, твой долг следить за ней и всячески оберегать ее. Смотри за тем, чтобы ноги у нее были постоянно в тепле". И... в июне 1897 г. рождается великая княжна Татьяна.

Через год, в октябре 1898 г. Александра опять беременна. "Дорогая мама, я должна тебе сказать, что в мае следующего года мы ожидаем с божьей помощью нового счастливого события в нашей жизни, — писал Николай, — Аликс уже перестала править своим выездом, дважды во время богослужения она теряла сознание". Через месяц, в ноябре: "Тошнота прекратилась. Двигается она очень мало. В теплую погоду сидит на балконе. Вечерами, когда она ложится в постель, я читаю ей. Мы только что закончили "Войну и мир". В мае родилась великая княжна Мария. Четвертый ребенок — тоже девочка — появился в июне 1901 г. Ее назвали Анастасией.

В течение ужасных событий русско-японской войны и революции 1905 г. у Николая и Александры был единственный

короткий миг безоблачного и высочайшего счастья. 12 августа 1904 г. Николай записал в своем дневнике: "Великий, никогда не забываемый день, когда милостью божьей посетила нас так реально. В час дня у Аликс родился сын. Ребенка назвали Алексеем".

Мальчик, которого так ждали, родился быстро и неожиданно. Это случилось в Петергофе. Был жаркий летний полдень. Царь с женой обедали. Императрица едва успела справиться со своим супом, как ей пришлось извиниться и броситься в свою комнату. Не прошло и часа, как родился мальчик, который весил восемь фунтов. Первыми начали салют пушки в Петергофе, затем — в Кронштадте. И вот на расстоянии двадцати миль от Петергофа, в самом центре Петербурга, послышались орудийные залпы артиллерийских батарей Петропавловской крепости. На этот раз прозвучало 300 залпов. По всей России прокатилось ликование: громыхали пушки, раздавался звон колоколов, развевались флаги. Царевич Алексей был назван в честь царя Алексея Михайловича, которого особенно выделял и чтит Николай II. Впервые за длительный исторический период, начиная с XVII в., был рожден наследник мужского пола, отцом которого был царствующий монарх. Это показалось божьей милостью, вселившей надежду.

Его императорское высочество великий князь Алексей Николаевич, самодержавный наследник и царевич, был толстым хорошеньким младенцем с золотистыми кудряшками и ясными голубыми глазами. Ольга, девяти лет, Татьяна — семи, Мария — пяти лет и трехлетняя Анастасия,





как только им было позволено, осторожно на цыпочках вошли в детскую и заглянули в колыбель, чтобы поближе рассмотреть своего маленького братика.

Спустя почти два месяца Николай записал в своем дневнике: "Аликс и я начали испытывать огромное беспокойство. Сегодня утром без малейшей причины у нашего маленького Алексея началось кровотечение в области пупка. Это продолжалось с небольшими перерывами до вечера. Мы вынуждены были вызвать хирурга Федорова, который около семи часов наложил повязку. Ребенок был необыкновенно спокоен и даже весел. Однако это непереносимо жить в таком ужасном беспокойстве". И на следующий день: "Сегодня утром опять появилась кровь на повязке. Но к полудню кровотечение прекратилось. Ребенок спокойно провел день, и нет никаких оснований беспокоиться за его здоровье".

На третий день кровотечение прекратилось окончательно. Однако страх, возникший у царя и его жены в эти дни, продолжал усиливаться. Прошло несколько месяцев, и Алексей начал подниматься в своей колыбели, ползать и попытался ходить. Когда он спотыкался и падал, появлялись маленькие синяки и шишки на его ручках и ножках. Через несколько часов они превращались в темно-синие вздутия. Кровь, проникавшая в результате нарушения целостности сосудов под кожу, не свертывалась. Ужасающее подозрение родителей подтвердилось. У Алексея была гемофилия.

Эта страшная весть, которая в то время не вышла за пределы семьи, была самым тяжелым ис-

питанием для Николая, превосходящим все то, что он чувствовал, когда узнал о кровавом воскресенье и Цусиме или когда подписывал Манифест. Эта боль не оставляла его до конца жизни.

Величайшая ирония судьбы состояла в том, что так долго ожидаемое, благословенное рождение единственного сына нанесло царю смертельный удар. Раздавались залпы праздничного салюта, развевались флаги, а судьба уже сплела свою ужасную интригу. Не только проигранные битвы и затонувшие корабли, взрывы скрытых бомб, революции и их заговоры, забастовки и бунты раскачали Российскую империю. Ее гибель была предопределена незримым пороком, заключенным в теле маленького мальчика. Спрятанная от людских глаз, окутанная пеленой слухов и сплетен, развивающаяся по своим собственным законам, эта тайная трагедия коренным образом изменит судьбу России и всего мира.

За тяжелыми дверями Александровского дворца в Царском Селе императорская семья вела пунктуально размеренную жизнь. Зимой Царское Село лежало, покрытое тяжелой пеленой снегов, и солнце утром появлялось не раньше 9 часов. Николай поднимался в 7 часов, завтракал с дочерьми и уходил работать в кабинет. Александра редко выходила из своей комнаты раньше полудня. Утренние часы она проводила в постели, опираясь на подушки или в шезлонге. В это время она обычно читала полученную корреспонденцию или писала длинные эмоциональные письма своим друзьям. В отличие от Николая, для которого процесс написания

писем был мучительным и отнимал много времени, Александра писала обширные письма, быстро заполняя одну страницу за другой.

В отличие от многих царствующих особ Николай и Александра делили общую постель. Спальная была расположена в большой комнате с высокими окнами, смотрящими в парк. Огромная двуспальная кровать из светлого дерева стояла в простенке между окнами. Стулья и кушетки, покрытые коврами с цветочным рисунком, были расставлены тут и там на толстом шерстяном ковре, в плетение которого входила сиреневая нитка. Направо от кровати находилась дверь, ведущая в маленькую комнату типа часовни, предназначенную для частых уединенных молитв императрицы. В комнате, полуосвещенной тысячами лампадами, находились лишь одна икона и столик, на котором лежала Библия. С другой стороны кровати была дверь, ведущая из спальни прямо в личную ванную комнату Александры, в которой хранилась, спрятанная от посторонних глаз, коллекция старых косметических средств.

В уютной комнате, окруженной любимыми предметами, Александра чувствовала себя спокойно. Здесь по утрам она говорила со своими дочерьми, помогала им выбрать платье и составляла распорядок их дня. Николай всегда спешил в эту комнату для того, чтобы за чаем почитать газеты и обсудить свои семейные отношения и государственные дела. Они говорили по-английски, хотя с детьми Николай объяснялся по-русски, так же как и дети между собой. Для Александры Николай

был всегда "Ники". Она для него была "Аликс", "Солнце", "Солнышко". Иногда в комнатах собственной части дворца раздавался чистый музыкальный свист, похожий на мелодичную песню птицы. Это Николай таким образом звал свою жену. В первые годы замужества Александра, слыша его свист, вспыхивала, бросала все свои дела и спешила к нему. Потом, когда подросли дети, Николай начал подзывать их таким же образом, и птичий свист стал обычным, частым звуком в Александровском дворце.

Зима для детей царской семьи была временем бесконечных уроков. Начиная с 9 часов утра преподаватели обучали их арифметике, географии, истории, русскому, французскому, английскому. Прежде чем они приступали к занятиям, их осматривал доктор Евгений Боткин, придворный врач, который обращал особое внимание на горло и гланды. Вместе с тем из Петербурга приезжал доктор Острогорский — также для наблюдения за детьми. Позднее молодому доктору Владимиру Деревянко был поручен специальный надзор за гемофилией царевича. Однако любимцем детей оставался Боткин — большой толстый человек, носивший синий костюм и толстую золотую цепь от часов на животе, всегда надушенный крепкими французскими духами.

Ровно в одиннадцать царь и его дети делали перерыв в занятиях и выходили на часовую прогулку. Иногда Николай брал ружье, чтобы пострелять ворон в парке. У него был выводок из одиннадцати английских колли, и он любил прогуливаться с собаками, ко-





торые крутились и бегали вокруг него. Зимой он присоединялся к детям и их преподавателям, и они вместе делали "ледяные горы", то есть заливали водой большие возвышения из снега; вода замерзала и превращалась в прекрасную поверхность для катания на салазках и маленьких санях.

Обед после полудня был в Царском Селе настоящей церемонией, несмотря на то что императрица почти никогда не принимала в них участия. Николай обедал с детьми и членами своей свиты. По русскому обычаю еде предшествовала молитва, которую читал, вставая из-за стола и глядя на икону, священник, затем нараспев посылая свое благословение. За царским столом эту роль выполнял священник Васильев, духовный отец императорской семьи. Васильев был из крестьян. Он не закончил Теологической академии. То, чего ему не хватало в силу отсутствия должного образования, он компенсировал своей искренностью. Когда он громко произносил своим хриплым голосом слова молитвы, Александра была убеждена в том, что это и есть отражение истинно русского, глубоко православного духа народа. Как духовный отец Васильев был удобен. Какие бы признания Васильев ни слышал на исповеди, он говорил, кротко улыбаясь: "Не огорчайтесь. Дьявол не занимается ни курением, ни выпивкой, ни буйным весельем. Но тем не менее он дьявол". За императорским столом, среди облаченных в золотые одежды придворных, Васильев выглядел человеком, полным подлинного драматизма. Его одежда состояла из длинной черной рясы с широкими рукавами,

черная борода закрывала грудь, большой серебряный крест спускался на цепи с его шеи. Он производил впечатление огромного одетого в черное пророка, сидящего за царским столом.

Еще один человек, присутствие которого не всегда можно было заметить, украшал императорский стол. Это был Кюба — придворный шеф-повар. Его деятельность в Царском Селе была сопряжена с большими трудностями. Ни Николай, ни Александра не имели склонности к роскошным и сложным кушаньям, рецепты которых великий французский повар привез из своего отечества, чтобы привить их в княжеских домах России. Николай, например, любил съесть кусок молочного поросенка с хреном и запить это стаканом портвейна. Что касается высшего русского деликатеса — малосольной икры, то Николай употреблял ее очень редко, поскольку однажды это вызвало острое несварение желудка. Чаше всего он ел простую еду русского крестьянина — борщ и кашу, отварную рыбу и фрукты. Александра вообще обращала мало внимания на еду и обычно пошпиывала то, что стояло рядом с ней.

Днем, пока дети продолжали заниматься уроками, Александра часто отправлялась на прогулку в экипаже.

Николай редко сопровождал жену в этих поездках в карете. Вместо этого он любил ездить верхом в сопровождении графа Фредерикса или своего друга генерала Александра Орлова — командира императорских гусар ее величества. Обычно они ехали полями в сторону Красного Села, проезжая встречающиеся на пути

деревни. Во время этих прогулок царь часто останавливался, чтобы поговорить с крестьянами, расспрашивал об их жизни, о затруднениях в деревне, о видах на урожай. Зная, что царь часто ездит на прогулки по этой дороге, крестьяне из других районов ожидали его с тем, чтобы вручить петицию или обратиться с просьбой. Почти всегда Николай следил, чтобы эти просьбы удовлетворялись.

В 4 часа семья собиралась на чаепитие, процедура которого была всегда одинаковой. Из года в год — маленький, накрытый белоснежной скатертью стол. На нем все те же стаканы в серебряных подстаканниках, тарелочки с горячим хлебом, английские бисквиты. Пирожные и сладости всегда отсутствовали. Александра жаловалась своему близкому другу, Анне Вырубовой, что "другие устраивают более интересный чай". Тарелки с горячим хлебом и маслом подавались неизменно со времен Екатерины Великой. Как и вся жизнь в Царском Селе, церемония чаепития была подчинена неизменяющимся традициям. "Каждый день в одно и то же время, пунктуально, — писала Анна Вырубова, — открывалась дверь, входил император, садился за стол, намазывал хлеб маслом и начинал пить чай. Он выпивал два стакана, никогда не больше и меньше, и просматривал телеграммы и газеты. Дети обожали находиться в это время в комнате. Одетые в свежие белые платья и цветные носочки, они проводили время на полу с игрушками. Когда они стали старше, игрушки были заменены вышиванием и другими работами, связанными с шитьем.

Императрица не любила видеть своих дочерей с не занятыми ничем руками”.

После чая Николай возвращался в свой кабинет. От пяти до восьми он принимал посетителей, приехавших в Царское Село на поезде. Начинало темнеть. Их провожали в комнату ожидания, где они могли посидеть и полистать книги и журналы, дожидаясь приема у царя.

Николай принимал посетителей чаще всего в обстановке, лишенной официальности. Стоя перед письменным столом, он предлагал вошедшему сесть в кресло, спрашивал, хочет ли тот закурить, и зажигал папиросу сам. Он всех и всегда выслушивал очень внимательно и, несмотря на то что чаще всего схватывал суть и делал выводы задолго до того, как посетитель заканчивал свое повествование, никогда его не прерывал. Однако когда Николай вставал и подходил к окну, это всегда означало, что аудиенция закончена. Царь не менял своих привычек, и этот его жест никогда не означал ничего другого, независимо от того, выражал ли царь свое удовлетворение или сожаление по поводу состоявшегося разговора. Новичков сурово и быстро удаляли. ”Я боюсь, что утомил вас”, — говорил Николай, вежливо прерывая разговор.

Ужин всегда был интимным, в кругу семьи, несмотря на то что императрица неизменно появлялась за столом в вечернем туалете и драгоценностях. После ужина Александра шла в детскую, чтобы послушать, как читает свою вечернюю молитву царевич. Вечером, после ужина, Николай часто садился в гостиную на своей поло-

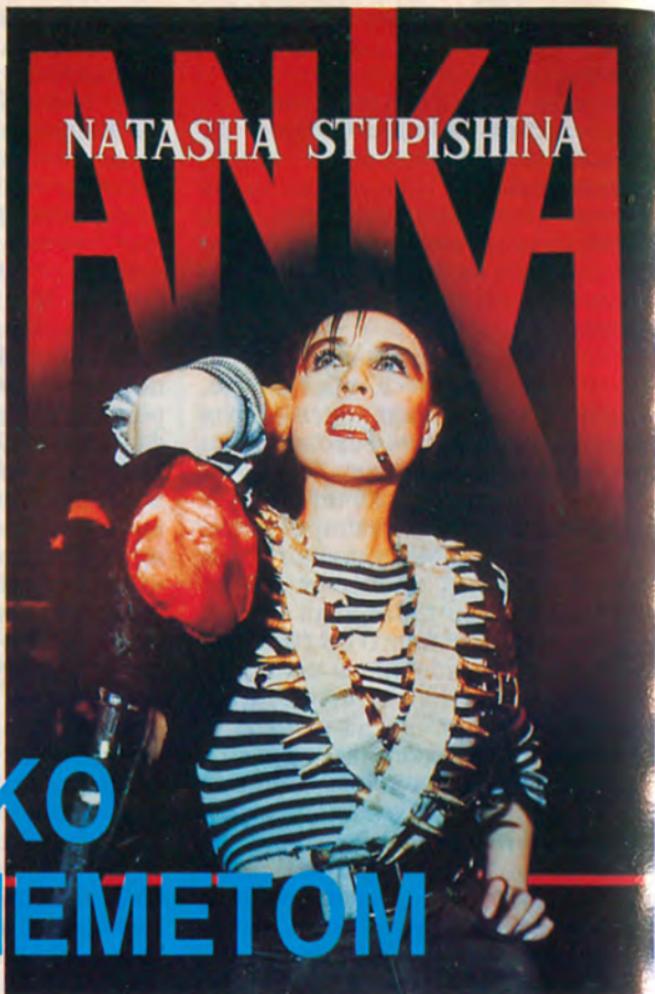
вине и читал что-нибудь вслух, пока его жена и дочери шили или занимались рукоделием. Как пишет Анна Вырубова, много раз бывавшая на этих полных человеческого тепла и уюта вечерах, которые проводила вместе императорская семья, царь выбирал для чтения Толстого, Тургенева или своего любимого писателя — Гоголя. В то же время, желая доставить удовольствие дамам, он мог выбрать модную английскую повесть. Николай одинаково хорошо владел русским, английским, французским, неплохо знал немецкий и датский. Его голос, по воспоминаниям Вырубовой, ”был мягким и приятным, с очень ясной артикуляцией”. Выбором книг занимался специальный библиотекарь, в чьи обязанности входило представлять каждый месяц царю двадцать лучших книг из всех стран мира.

Иногда вместо чтения они занимались вечерами наклеиванием в альбом из зеленой кожи с золотым тиснением и императорской монограммой фотографических снимков, сделанных придворным фотографом или ими самими. Николай любил руководить размещением и наклеиванием фотографий и требовал, чтобы эта работа делалась с предельной аккуратностью. ”Он терпеть не мог даже маленького пятна на столе”, — писала Вырубова. Приятный, монотонный день заканчивался в одиннадцать, когда подавали вечерний чай. Перед сном Николай делал записи в дневнике и погружался в большую, покрытую белой эмалью ванну. Ложась в постель, он мгновенно засыпал.

Продолжение следует

Рубрику ведет
Нина ТИХОНОВА

NATASHA STUPISHINA



ТОЛЬКО С ПУЛЕМЕТОМ

Немало уже говорилось о том, как трудно пробиться молодому дарованию, особенно если оно возмечтало об артистической карьере. Редакция нашего журнала получает много писем, в которых читатели спрашивают: как стать артистом?

Обратиться с этим вопросом к знаменитости? Звезды обычно таинственно улыбаются в ответ и советуют... учиться и не терять

надежды. Мы решили спросить о пути в "легком" жанре певицу, которая только что пробилась в эфир и с успехом выступила в телешоу "50 x 50". Вы наверняка обратили внимание — статная девушка в рваной тельняшке, перепоясанная патронташами, в папахе и сапогах. Это — Наталия Ступишина.

Впрочем, Наташа не опровергает рекомендаций звезд на пути

к поднебесью: учиться действительно надо. Она сама окончила институт имени Гнесиных по дирижерско-хоровому факультету. Играла на бас-гитаре и пела в популярном тогда, в самом деле весьма музыкальном ВИА "Москвички".

Тут началась эпоха перемен, о которой сытые дикторы ежеминутно вещают с телеэкрана, ликуя, как много открылось новых возможностей, хотя большинство людей чаще замечает, что закрылись даже редкие существовавшие лазейки. Ступишину бросило в варьете "Арбат". Однако там она не растерялась и, подобно Сергею Минаеву, в короткий срок освоила буквально всю мировую эстрадную "классику".

Наташа пластична — с 12 лет занималась фигурным катанием. Склонна воплощать в песнях ярких, разнообразных персонажей. И все же ее репертуар поначалу представлял собой крепкие, но не "убойные" шлягеры. "Кажется, — говорит артистка, — редакторы концертов и массмедиа нарочно выбирают из предложений молодого певца самые средненькие песни, чтобы не мешать сиянию утвердившихся звезд". Подтверждением тому стал первый миньон Ступишиной "Ночная музыка", выпущенный "Мелодией".

Существует, как известно, проторенный путь к успеху — особенно близко подружиться с кем-нибудь из эстрадных "китов", авось поможет. Наташа испробовала и такой вариант, гастролировала с Мажуковым, Аедоницким. Однако, во-первых, их стиль на сломе эпохи стал уходящим. Во-вторых, артистка не старалась

дружить излишне тесно: у нее свой муж — художник (он, кстати, оформляет ее пластинки) и маленькая дочка. В общем, не это помогло Ступишиной.

Хотя неожиданный "кит" все-таки выплыл. Про подобные случаи говорят — так не бывает, а позже доказывают закономерность счастливой случайности в судьбе трудолюбивого и не теряющего надежды человека.

Наташе позвонил поэт Михаил Танич. Известный еще нашим родителям и до сих пор очень удачливый в создании шлягеров. Это его "Черного кота" возродила Жанна Агузарова. Это он сочинил знаменитые "Комарово", "Любовь — кольцо", "Подорожник". Кажется, стоит только именно Таничу написать: "По аэродрому лайнер пробежал, как по судьбе", "Гляжусь в тебя, как в зеркало", "А я бросаю камешки с крутого бережка..." — и незамысловатый в принципе образ запоминается и приобретает популярность у слушателей. А ведь это так важно для певца — заполучить для первого исполнения оригинальный материал.

До этого поэт и артистка не были знакомы, и вдруг он сам позвонил. Впрочем, на пластинке Ступишиной звучала песня на стихи Танича "Осенние цветы" (музыка Бориса Тимура). Вероятно, поэту понравилась интерпретация, вот он и позвонил.

И предложил Наташе цикл своих песен на музыку молодого ленинградского композитора Игоря Азарова про легендарную тройцу: Чапая, Петьку и Анку. "Соловецкий вальс" из этой серии как раз и прозвучал в программе "50 x 50". А в целом композиция до-

лжна была называться "Только с пулеметом", но "Мелодия", живо ухватившаяся за эффектный материал, побоялась оставить подобное название для коммерческих сингла и кассеты, которые скоро появятся в продаже.

С названиями поныне сложности. У Ступишиной уже вышел один диск-гигант, который должен был называться "Раздвоение", настолько контрастны стили песен: от панк-рока и психоделии до диско-пританцовок. Однако в итоге пластинка была наречена инициалами артистки — "НС".

"Чапаевская" серия, на мой взгляд, самая яркая работа Наташи. Она безусловно выделяется на фоне достаточно безликой сегодняшней попсы. Что касается авторов, то, надо отдать должное, они точно уловили вейния современности, но осмыслили их интеллигентно и профессионально.

Казалось бы, герои гражданской войны прочно заняли место персонажей анекдотов. И все же в тревожном предчувствии новой гражданской войны среди шутивого жаргона всерьез вырисовывается трагическая тема. В исполнении Ступишиной шалава Анка предстает узнаваемой девочкой, чью судьбу бесхозно изломали политические катаклизмы. Гляжу я на героиню и ужасно жалко становится себя и свое поколение: похоже, со временем нам тоже нечего будет вспомнить, кроме страстей пережитых войн и революций. Нынешней Анке уже не заморочишь голову, будто бы это и есть настоящее человеческое счастье.

Так что же, успех артистки снял все сложности актерского пути?

Ничуть не бывало. С грустью вспоминается так и не увидевшая большой раскрутки детская программа Ступишиной, созданная с поэтом Борисом Шифриным и композитором Михаилом Райко. Она была тепло принята в Прибалтике, где культуру музыкального воспитания малышей ценить умеют. А вот больше никому не пригодилась.

Острые ощущения оставило сотрудничество с хозрасчетным концертным центром города Ярославля. Это в особенности вам на заметку, начинающие артисты. Предположим, вы обладаете всеми данными для того, чтобы стать солистом собственного шоу. И вот появляются шустрые кооператоры, которые обещают поймать для вас удачу за хвост. И не так себе просто: показывают оформленные документы, где сказано, что для вас приглашена труппа кордебалета, заказана реклама на радио и ТВ и т.д., и т.п. Вы бросаете все, мчитесь в Ярославль, полгода мыкаетесь в чужом городе, а в результате посулившие золотые горы "благодетели" исчезают вместе с вложенными в дело деньгами. По счастью у Ступишиной осталась хотя бы собранная за это время аппаратура.

Наташа вновь отправилась пробиваться сама и стала участницей шоу "50 x 50". Когда в лицо ударил поток света и зазвучали первые аккорды песни... нет, Наташа бывалая актриса... наверное, тушь потекла. В общем, судите сами, насколько легко и радостно быть артистом. Разве что не труднее, чем просто жить постоянно и только с пулеметом.

Сексуальный рок-н-ролл

По моим наблюдениям, Пик Эпатажности отечественный рок-н-ролл проехал года два назад. К тому времени с рок-музыкой свиклись даже ее оппоненты, число предложений в легализованном роке приближалось к критической массе, петь разрешено было как угодно и почти что обо всем, и вот первым шагом к преодолению этого "почти", попыткой обратить на себя внимание в гуще конкурентов стали крайние формы эпатажа. Танцовщик группы "АукцЫон" заголил зад. Музыкант тоже ленинградской группы "Токио" на глазах у зрителей полосовал вены бритвой, декорируя подмышки струйками живой крови. В качестве логического продолжения лидер и солист группы "Время любить" Михаил Берников иллюстрировал название своего коллектива, расстегивая в кульминации песни ширинку.

В духе нынешней борьбы с порнографией спешу заверить — ничего крамольного видно не было. Приличные советские мальчишки носят под джинсами плавки. Да и само движение "зип-

пера" — вниз, вверх — длилось секунды. Артисту важен был почин — вот, мол, дошел до края. И как раз об этом я собираюсь поговорить, напомнить, что нормального зрителя любое действие актера может впечатлить только в контексте, адекватном идее игры.

Группа "Время любить" была создана в ноябре 1985 года музыкантами, ранее игравшими в других командах Ленинградского государственного университета. На VI фестивале Ленинградского рок-клуба 1988 года выступление "Времени любить" произвело, по признанию местных ценителей, эффект разорвавшегося снаряда, и с тех пор группа считается одной из самых перспективных в ЛР-К. Тому способствует весь состав команды: вокалист Михаил Берников, гитарист Николай Фомин, басист Дмитрий Благовещенский, клавишник Михаил "Сэм" Семенов, барабанщик Михаил Нефедов.

Расположение к группе понятно. Солист Михаил Берников обладает романтической внешностью. В музыке "Время любить"

исповедует всегда обаятельный ритм-энд-блюз. А в имидже и поэзии исследует вечную и столь не утоленную в современном отечественном искусстве тему любви. Берников называет это "высокой эротикой", "секс-роком", да не превратятся данные термины в ругательства на волне все той же государственной заботы о нашей нравственности.

Что и говорить, наши соотечественники всегда готовы перепутать различия между любовью и совокуплением. И тут я припомню свою любимую мысль: насколько продуктивно бывает взглянуть на мир через эксцентрическую призму панк-культуры. Испытывая склонность к сатире, лирическое "Время любить" умудрилось "выстрелить" на VI фестивале ЛР-К, который вошел в историю как торжество панка. А я вам скажу, тягаться с яркими, энергичными, колоритными панками — дело нешуточное.

На следующем фестивале в Ленинграде Берников играл "молнией" на брюках с несколько меньшим успехом. Впрочем, в роке вообще обозначился спад энтузиазма, и в сегодняшней ситуации перехода количества в качество "Время любить" все равно занимает лидирующие позиции. Нынче на сцене снять штаны или сделать хакари уже явно мало, возникла естественная потребность в глубине смысла, ради которого применяется трюк.

В этой связи у меня есть претензии к текстам "Времени любить", как и к стихам почти любой другой группы. Берникову же как, очевидно, перспективному артисту хочется напомнить несколько актерских правил, определяющих

успех, особенно в обожаемой мною эротической сфере искусства.

Собственно, по моему убеждению, искусство — это всегда любовь, все остальное — ложь. И для подтверждения страстности раздеваться сразу не обязательно.

Вот артист выходит на сцену. Он безусловно пластичен, но особенно привлекла бы индивидуальная, неповторимая пластика, которую, конечно, выработать нелегко. Певец в костюме-сеточке, приглашающем вглядываться, не разойдется ли ненароком шнуровка в интимных местах. Для особо непонятливых Берников начинает пощипывать завязочки.

Да что ж ты мне так не доверяешь?! Догадалась я, и все заметили. По законам истинного кабаре это зрители должны рвать на себе одежду, в то время как артист слегка выразит свое возбуждение, стряхнув пылинку с лацкана фрака.

Впрочем, о чем это я в свете борьбы с порнографией? Нет, в зале все будет тоже благоприспособно, но эмоции по уши одетых артистов и зрителей должны рваться в клочья.

И вот тогда, заметьте, медленно можно начинать раздеваться. А то и разом — ширинку наголо. Но только тогда, когда никаких сил сдерживать чувства у обеих сторон, артиста и публики, уже не хватает. Чаша переполнилась, и сладостный ритм-энд-блюз — может быть тогда уже безразлично с какими словами — хлещет и затопляет все вокруг. Вот примерно такое оно — настоящее ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ.

Фото Леонида ГУСЕВА



ТРУДНО СМОТРЕТЬ В ЗЕРКАЛО ПО УТРАМ



Крутые рокоманы знают ленинградскую группу "АУ", паспортное имя лидера которой в народной молве не сохранилось, зато он часто фигурирует в байках под прозвищем Свинья. "АУ" относится к разряду тех коллективов, о которых многие слышали, но мало кто имел повод удостовериться, существуют ли они в действительности. Одно слово — легенда.

Поэтому сегодня речь о другой ленинградской группе, которая замечена в выступлениях на совместных московско-ленинградс-

ких концертах столичной рок-лаборатории и на фестивалях рок-клуба города на Неве. Группа называется "Народное ополчение". А создал, возглавляет и солирует в ней бывший бас-гитарист "АУ", тоже известный в тусовке под кличкой — Алекс Оголтель.

"Народное ополчение" появилось в 1981 году. И летом того же года музыканты записали свой первый альбом...

Тут началось. Нет, не восхождение к славе. О трудностях в творчестве и жизни рок-музыкантов в застойный период стало скучно повторять — неприятности тогда с лихвой огребали все. Однако об остроте песен "Народного ополчения" можно судить хотя бы по тому, что даже ленинградский рок-клуб, созданный как оазис свежего мышления, опасался принимать "ополченцев" в свои ряды аж до весны 1988 года.

А когда на VI фестивале рок-клуба "Народное ополчение" все-таки дебютировало, выяснилось, что петь частушки про Брежнева уже не только не крамольно, но вовсе не актуально. Алекс со товарищи, конкретно: гитарист — Игорь Мотовилов, бас — Вадим Снегирев, барабанщик — Алексей "Микшер" Калинин и звукооператор — Андрей Николаев, взяли за подготовку новой программы, которая, на их взгляд, точно отразила помыслы периода расцвета предпринимательской инициативы, выразившиеся в названии цикла — "Искры!" Они стали лауреатами "Рок-поп-шоу" в городе Бердянске и возглавили "Хит-парад-89 Бориса Малышева" в телеобзоре "Поп-антенна".

На мой взгляд, успех группы

определяет колоритность солиста. Нет, странных парней, приплясывающих на сцене в пижамах, хватает и без Алекса Оголтелого. Хотя ингредиенты музыкального коктейля, который составляет из приемов наиболее популярных стилей каждая группа, могут быть различными, наиболее успешны, как мне представляется, те, кто уважает панк. В нашей стране это направление было воспринято по преимуществу как кладезь театральных форм. "Припанкованные" артисты чаще других делают ставку на оригинальность сценического имиджа. Все маски дурдома оживают в пику унылому, прилизанному стереотипу попсовой эстрады.

Однако, не внемля искусствоведом, юные поклонники зачастую предпочитают сладеньких, аккуратных кумиров взлохмаченным и подергивающимся. Переубедить их, надеюсь, в силах лишь обаяние артиста, которым щедро наделен Алекс Оголтелый.

Подозреваю, для тинэйджеров, которые в основном составляют аудиторию эстрадных концертов и являются читателями музыкальных рубрик, бесполезно походя сослаться в характеристике Алекса на персонажей фильмов Ингмара Бергмана. И тем не менее в картинах этого скандинавского режиссера замечательно разработан тип героя-неврастеника, столь созвучный нашему времени. Наивно, конечно, проводить прямые параллели между звездами мирового киноэкрана и нашими доморощенными рокерами, но учиться все-таки стоит у мастеров. А ими тема, грубо говоря, мира-психушки уже давно освоена. Она не легка для

восприятия, но в отличие от первых отечественных потуг в этом направлении, медицинского свойства диагноза не раздражают примитивным шутовством, не теряют эффектности, шарма, романтичности взгляда на них художника. А у Бергмана к тому же оттенены северной сдержанностью, дающей изящество рисунку.

В странном голосе, необычной внешности, непредсказуемом темпераменте Алекса Оголтелого определенно есть что-то от бергмановских персонажей. Перспектива развития группы — в гармонии единения поэтических, музыкальных и зрелищных образов ее песен. Мне кажется, Алексу, как и многим нашим рокерам, случается хвататься за первое подвернувшееся решение или, наоборот, мудрствовать лукаво. Не исключено, по утрам он просто не в силах разглядеть себя в зеркале, а больше в течение дня туда не заглядывает. Поэтому его песни если и грешат чем-то, так привкусом "деланности". Я бы мечтала услышать исповедь того Оголтелого, которого видишь. Такой герой мог бы многое порассказать, и не о Скандинавии, а о нашем житье-бытье.

А может быть, не стоит отвлекать страстного заводилу джэмов Алекса тривиальным советом быть внимательнее, играя самого себя? Думаю, стоит. Тем более что это общая проблема для многих современных художников, которые в быту нередко интереснее, чем в работе. Почаще заглядывайте в зеркало, и не только примеряя костюм, в котором будете позировать рядом с собственной картиной или диском.

ИЩУ ДРУГА

Нашу подборку, как всегда, начинаем с адресов музыкальных фанатов. Пишите им, поклонники:

Виктора Цоя и группы "Кино" —
349783, Луганская обл.,
г. Теплогорск, ул. Юности, 7, кв.
5. Коновалова Марина (13 лет).
630120, Новосибирск, ул.
Пархоменко, 112-271. П. (15 лет).

Жанны Агузаровой —
660121, г. Красноярск, ул.
Парашютная, 74-70. Никитина
Ольга (16 лет).

группы "Наутилус" —
676120, Амурская обл.,
ст. Магдагачи, ул. К.Маркса, 17,
кв. 61. Колесник В.А. (он учится
в 11-м классе, просит писать ему
только тех, кто курит и любит
рисовать).

Майкла Джексона —
111531, Москва, ул. Саянс-
кая, 3-1-288. Ксения (16 лет).

группы "Битлз" —
220004, Минск, Обувный пер.,
7, кв. 23. Сацюк Света
(16 лет).

Девочка из Ижевска просит нас рассказать об индийском кинематографе. Наташа! Твоя просьба будет выполнена. Такая статья (и, конечно, фотографии) появится в номерах за этот год. А пока публикуем твой адрес — для других поклонников индийского кино.

426054, Удмуртская АССР,
г. Ижевск, ул.Школьная, 46-58.
Котова Наташа.

Дорогие друзья! Обращаем ваше внимание на следующий адрес:
630082, Новосибирск-82, ул.Дмитрия Донского, 25, кв. 21. Емельянова Юлия.

Юле 15 лет, она хочет стать помощником нашего журнала — пересылать письма тех, кто ищет себе друга по интересам. Журнал "Мы" очень благодарен Юлии за такое предложение — писем с просьбой опубликовать адрес приходит очень много, и мы опасаемся, что многие из них будут долго ждать публикации. Мы надеемся, что пример Юлии последует еще кто-нибудь!

15-летняя Света — серьезная девочка со склонностью к литературному творчеству — пишет стихи и рассказы. Любит поэзию — Волошина, Ахматову, Пастернака.

630133, Новосибирск-133, ул. Лазурная, 14-162. Смирнова Света.

Наша читательница предложила свою помощь — она хочет собирать лучшие шутки, юмористические фразы и т.д. о школе и школьниках для нашего журнала.

И еще она просит написать ей школьника из Мелитополя, учащегося школы № 4 Захара Пирова, с которым она отдыхала в пионерлагере "Чайка" на берегу Азовского моря. Захар, отзовись!

324089, г. Кривой Рог, ул. Маршака, 12-14. Пашниовская Маргарита.

17-летняя девочка просит писать ей тех, кто может поделиться советами по воспитанию собак.

163009, Архангельск, ул. Чапаева, 13-2. Чебыкина Валерия.

15-летняя Катя увлекается собаками, собирает открытки и календарики с их изображениями. "Но если тебе просто грустно, — пишет она, — ты тоже можешь мне написать!"

344082, г. Ростов-на-Дону, Халтуринский, 86, кв. 1. Катя.

И еще две любительницы собак:

141980, г. Дубна Московской обл., ул. Ленинградская, д. 30, кв. 13. Седахина Лена (13 лет, увлекается еще и лошадьми).

141980, г. Дубна Московской обл., ул. Мичурина, д. 1, кв. 43. Шохова Галя (12 лет).

15-летняя девочка мечтает выучить английский и эсперанто. По-можем?

624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Фадеева, 22, кв. 51. Колчина Алена.

Андрею 17 лет. Он прислал нам прекрасное письмо о том, как всем нам нужна в жизни любовь, если она — подлинная. Думаем, что многие найдут в нем настоящего, серьезного друга.

111397, Москва, ул.Новогиреевская, 25, кв. 36. Андрей.

Девочки 1978 года рождения! Ваших писем ждет Люба. О себе она написала, что ее любимое блюдо — пельмени и манты, а также неизвестный нам чак-чак.

460008, г. Оренбург, ул.Терешковой, д. 249/1, кв. 79. ПANOVA Л.

А 12-летняя Тоня собирает деньги. Рано, скажете вы? Но ничего страшного — ее интересуют денежные знаки, выпущенные до 1961 года. А еще она собирает открытки.

644019, Омск-19, ул.Черноморская, 21. Петровская Тоня.

"Хочу знать все о войнах — афганцах". Люблю их стихи и песни. Жду писем от единомышленников".

624644, Свердловская обл., Алапаевский район, с.Первуново, ул.Ленина, 55, кв. 1. Пятыхина Тая.

И вот еще адреса ищущих друзей:

Одесса-98, ул.Умова, 2. Вакарчук Света (16 лет, просит писать мальчиков).

664050, г. Иркутск, ул.Байкальская, 286, кв. 28. Ковалева Лена (15 лет).

115682, г. Москва, Задонский пр-д, 40/73, кв. 36. Набавкова Марина (14 лет).

641800, г. Шадринск, ул.Автомобилистов, 9, кв. 9. Носова Катя (14 лет, любит рисовать).

141400, г. Химки Московской обл., ул.Молодежная, 30^а, кв. 4. Суркова Юлия (11 лет, интересуется кулинарными рецептами).

255510, УССР, г. Боярка Киевской обл., ул.Новая, 7. Слипченко Аня (13 лет).

164500, г. Северодвинск Архангельской обл., ул.Ломоносова, 51-56. Ольга П.

160010, г. Вологда, ул.Кубинская, 2, кв. 1. Ухова Люда (13 лет).

347126, Ростовская обл., Милютинский р-н, с.Каменный, д. 1. Дегтярева Наташа (16 лет, хочет переписываться с мальчиком 15-17 лет).

Ждем ваших писем!

НА МАЛОМ ЭКРАНЕ

Какой самый популярный фильм на видеокассетах у нас в стране? На этот вопрос не ответит никто, даже Центральное статистическое управление. А как интересно было бы узнать об этом. Но, к сожалению, со статистикой дела у нас обстоят неважно. Данных по видеотекам ВПТО "Видеофильм" не найти, не говоря уже о черном видеорынке. А жаль. В западных странах специализированные кино- и видеожурналы еженедельно публикуют такого рода информацию. И единственный на сегодняшний день выход — ознакомить читателей с лидерами проката видеокассет в США.

К концу 1990 года фильм "Красотка" режиссера Гарри Маршала ("Человек за бортом", "Молодость, больница и любовь") удерживал первое место. "Возвращение памяти" с Арнольдом Шварценеггером — второе, "Охота за "Красным Октябрем" — третье. Третья часть "Назад в будущее" занимала четвертую позицию и на пятой — "Птичка на проводе" с Мел Гибсоном и Голди Хоун в главной роли.

Картины, пользующиеся успехом в кинотеатрах, как правило, лидируют и в прокате видеокассет. "Красотка" — на втором месте по кассовым сборам за 1990 год — 178 миллионов долларов, "Охота за "Красным Октябрем" —

121, "Возвращение памяти" — 118, "Назад в будущее 3" — 88.

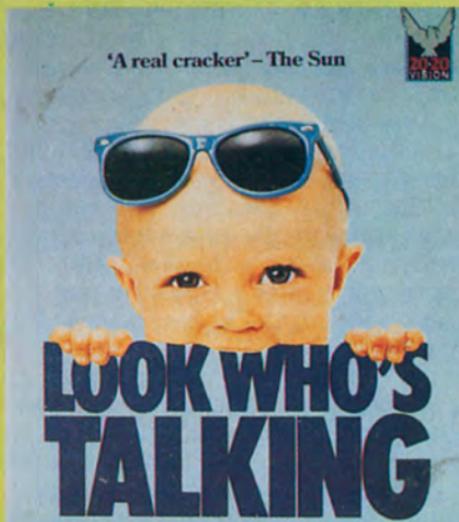
Фильм "Красотка" с Ричардом Гиром ("Офицер и джентльмен", "Американский жиголо") и Джулией Робертс ("Стальные магнолии") в программе наших черных видеосалонов и видеотек появился в начале нынешнего года. Типичная голливудская история — миллионер, заблудившись в Лос-Анджелесе, встречает проститутку, которая берется проводить его до отеля. Они полюбили друг друга, и, конечно, настоящий американский хеппи энд.

Современная "Золушка" понравилась зрителям за океаном и в Западной Европе. Интересно, как наши любители кино отреагируют на этот фильм. Меня он привлек великолепной игрой актеров Ричарда Гира и Джулии Робертс.

"Люди за работой" — вторая режиссерская работа актера Эмилио Эстефеца. Первый фильм — "Уисдом" — американские критики восприняли отрицательно. Второй мало чем отличается от первого, и его ждет та же участь. Вместе с братом Чарли Шином ("Уолл-стрит") дети знаменитого актера Мартина Шина ("Угождающие богам", "Апокалипсис сегодня") играют в фильме мусор-

щиков, которые на улице в одном из мусорных ящиков находят труп и с испугу сами решают узнать, что же произошло. Эмилио Эстеветцу не хватает все-таки режиссерского опыта. Получилась и слабая комедия, и никудышный боевик.

Рутгер Ауер ("Взять живым или мертвым") в картине "Слепая ярость" играет ветерана вьетнамской войны, потерявшего зрение, но в плену научившегося восточным единоборствам. И ему не мешает слепота. Он может одолеть любого, даже вооруженного бандита. Помогая своему другу по армии, он одолевает мафиозную группу практически один. Ужасное кино. К тому же Ауеру не удалось создать образ слепого человека.



Немного странно слышать с экрана рассуждения только родившегося малыша, да еще дублированного голосом Брюса Уиллиса ("Крепкий орешек"). Однако комедия "Посмотри, кто говорит"

смотрится с интересом. Таксист роль которого исполняет Джон Траволта ("Лихорадка в субботний вечер", "Прокол"), везет беременную женщину в больницу, когда у нее начались предродовые схватки. Тот, от которого она беременна, бросает свою возлюбленную, а малышу отца заменяет таксист. Все повествование этой милой истории ведется от лица младенца.

Американский военнотружущий в фильме "Прощание с королема", роль которого исполняет Ник Нолти ("48 часов", "Три беглеца"), во время второй мировой войны попадает на тихоокеанские острова, где его подбирают местные индейцы. Он решает не возвращаться в Америку и жить свободным вместе с племенем. Со временем он становится королем индейцев, однако спастись от войны ему не удается. Японские милитаристы высаживаются на остров, и король со своим племенем ведет против них войну. Помогают ему в этом несколько англичан. Однако после окончания войны англичане не сдерживают слова и хотят передать короля американскому командованию как дезертира.

"Подземные толчки" — картина о гигантских червях, которые терроризируют население небольшого американского городка. Однако нашлись храбрецы, которые смогли избавиться от чудовищ. Фред Уорд ("Флоридский пролив", "Большое дело") возглавляет группу смельчаков, перехитривших монстров.

Александр АДИН

RICHARD GERE

JULIA ROBERTS



ПРЕТТЮ УОМАН

***** — отличный фильм

**** — хороший

*** — неплохой

** — ничего особенного

* — плохой

КРАСОТКА

(PRETTY WOMAN) ****

США 115 мин. Комедия 1990

ЛЮДИ ЗА РАБОТОЙ

(MEN AT WORK) **

США 90 мин.

Комедия/боевик 1990

СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ

(BLIND FURY)*

США 85 мин. Боевик 1990

ПОСМОТРИ, КТО ГОВОРИТ

(LOOK WHO'S TALKING) ****

США 92 мин. Комедия 1989

ПРОЩАНИЕ С КОРОЛЕМ

(FAREWELL TO THE KING) ****

США 115 мин. Драма 1988

ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ

(TREMORS) ***

США 92 мин. Ужас 1989

Цена 1 руб. 20 коп.
Индекс 70554

